

М. И. СЕМЕВСКИЙ



ЦАРИЦА

КАТЕРИНА
АЛЕКСЕВНА

Михаил Иванович Семевский Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=151830*

Аннотация

Книги известного историка М.И.Семевского (1837-1892) пользовались большой популярностью в дореволюционной России и неоднократно переиздавались «Царица Катерина Алексеевна. Анна и Виллим Монс» повествует о семейной трагедии Петра I. Построенное на архивных материалах повествование написано очень увлекательно и обращает внимание читателя на малоизвестные страницы российской истории.

Содержание

I. Анна Ивановна Монс	4
II. Генераль-адъютант В. Монс	58
III. Марта Сковаронская, или Катерина (Василевская) Алексеевна	78
IV. Камер-юнкер Виллим Монс	91
V. Царица Екатерина Алексеевна	141
VI. Коронация и камергерство	159
VII. Донос	178
VIII. Пред розыском	189
IX. Розыск	209
X. Казнь камергера Монса	237
XI. Смерть императора Петра	259
XII. Императрица Екатерина I	276

Михаил Иванович Семеновский ЦАРИЦА КАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, АННА И ВИЛЛИМ МОНС

I. Анна Ивановна Монс (1692–1714 годы)

В 1698 году, в последних числах августа, Москва тревожно ждала царя Петра Алексеевича из его долговременного заграничного путешествия. Чувство тревоги и страха волновало всех от великого боярина и «генералиссимуса» Шейна до последнего стрельца, томившегося в колодках за известное дело под Воскресенским монастырем... В толпах «сераго» народа бродили разные слухи и толки; те и другие были вызываемы нелюбовью к Петру и его нововведениям: те и другие были поддерживаемы полуторагодичной отлучкой монарха. «Царя Петра Алексеевича не стало за морем!» – таинственно говорили тетки и сестры государя, и вслед за ними весть эту разносили горожанки, стрельцы и стрельчи-

хи; повторяли и верили ей даже бояре-правители, охваченные, по выражению государя, «бабьим страхом». «У нас наверху (т. е. во дворце) позамялось, – шептала одна из враждебных Петру царевен своей постельнице, – хотели было бояре государя-царевича удушить...». «Государь, – передавала стрельчихам одна из боярских боярынь, – государь неведомо жив, неведомо мертв... И в то число, как было бояре хотели государя-царевича удушить, его подменили и платье его на другого надели, и царица узнала, что не царевич; а царевича сыскали в иной комнате. И бояре ее, царицу, по щекам били...»

Толки эти, начавшиеся со времени отъезда Петра, приняли громадные размеры и были искрой, брошенной в порох. «Ныне вам худо, – писала Софья стрельцам, – а впредь будет еще хуже. Идите к Москве. Что вы стали?...» И стрельцы откликнулись на призыв: «В Москву, в Москву! Перебьем бояр, разорим Кукуй (Немецкую слободу), перережем немцев!..»

Немцы остались целы; уцелел и ненавистный народу Кукуй-городок: стойкость Гордона и пушки Де-Граге спасли кукуйцев от народной мести; стрельцы были смяты, разбиты, перехвачены и 2 июля 1698 года 140 облихованы кнутом, а 130 человек, по указу Шейна и бояр-правителей, вздернуты на виселицы.

Но розыск и казни были слишком поспешны, милосердны и необстоятельны для столь важного дела, так по край-

ней мере казалось Петру; «с печалью и досадою от болезни сердца» слал он еще из Амстердама горькие укоризны кесарю Ромодановс-кому за послабление мятежникам; и вот с твердым намерением «вырвать семя Милославского, угасить огонь мятежа» спешил государь в столицу. «Сей ради причины, – писал он Ромодановс-кому, – будем к вам так, как вы и не чаяте».

Бояре, однако, чаяли и чаяли для себя грозную сиверку.

Во вторник, 25 августа, в 6 часов пополудни, только что прозвонили от вечерни, в боярских палатах, дворцовых теремах, затем по всей Москве пролетела весть: государь приехал! Петр с Лефортом и Головиным возвратились в столицу. Проводив великих послов до их жилищ, навестив несколько боярских семейств, царь спешил насладиться радостями любви, но не в объятиях постылой уже царицы Авдотьи, а в семействе виноторговца, одного из жителей Кукуя-городка Ивана Монса.

Анна Монс, младшая дочь виноторговца, несколько лет тому назад успела приковать к себе сердце сурового монарха. Казалось, рассеяния заграничной жизни, долговременность разлуки должны были погасить любовь Петра к Анне Ивановне; это тем более казалось вероятным, что во все время с марта 1697 года по август 1698 года, т. е. во время путешествия своего, государь ни разу не вспомнил об Анне, по крайней мере, этого не видно из многочисленной переписки с его немецкими и русскими слугами. Но вид Кукуй-городка,

должно быть, воскресил в памяти Петра те приятные часы, которые он проводил в семействе Монс, и вот он спешит обнять одну из красавиц Немецкой слободы... «Крайне удивительно, – писал австрийский посол Гварьент, – крайне удивительно, что царь, против всякого ожидания, после столь долговременного отсутствия еще одержим прежнюю страстью; он тотчас по приезде посетил немку Монс...»

Но любовь любовью, а дело делом. Ночь проведена была в деревянном домике в Преображенском. На следующие же дни Петр поспешил принять всех и каждого, в ком только имел нужду; впрочем, ни из его разговоров, ни из его поступков нельзя еще было заметить, какие уроки вынесены государем из его поездки, какие важные нововведения должна ждать от него Россия. В первые дни он только и делал, что хватал своих бояр за бороды и ловко их отхватывал ножницами; «то были первые, – восклицает Устрялов, – и самые трудные шаги к перерождению России!». Затем из впечатлений, вынесенных царем из-за границы, стриженные сановники слышали похвалы венецианскому послу. Петр очень хвалил его за вкусные блюда и вкуснейшие напитки. Кроме посла-гастронома из заграничных знакомых Петр очень сблизился с королем польским. Четырехдневные попойки и пиршества (на обратном пути к Москве) до такой степени сдружили Петра I с Августом II, что они обменялись кафтанам.

«Я люблю Августа, – говорил царь боярам, щеголяя пред

ними в платье нового приятеля, – люблю его больше всех вас; люблю не потому, что он польский король, а потому, что мне нравится его личность».

Так говорил Петр в беседах со сподвижниками и слугами; но, заявляя пред ними приязнь к Августу, он спешил, однако, отпраздновать радость встречи с московскими друзьями. Устроить пир самый роскошный и разгульный было делом веселого Лефорта. 2 сентября к нему собралось до 500 человек гостей; на пирушку, по указу царя, были созваны все немецкие дамы, находившиеся в Москве. Разумеется, смело можно предположить, что не забыли пригласить и Анну Монс, настоящую царицу празднества. Заздравные тосты, клики пирующих, музыка, пальба из 25 орудий залпами, встречали каждый тост, и самая горячая пляска не переставала до позднего утра...

Но оставим танцующих, поищем государя... Вот он сидит за столом в облаках табачного дыма за бутылками и ковшами; Петр окружен друзьями и слугами, шумна беседа «кумпании»; хмель развязал языки, и генералиссимус, боярин Шеин, неосторожно пробалтывается о разных производствах и отличиях, за деньги и в большом числе сделанных им в своем отряде. Царь вспыхивает. Выскочив из-за стола, он спрашивает о слышанном солдат, стоявших на карауле... Ответы солдат увеличивают его негодование; со страшным гневом государь выхватывает шпагу и бьет ею по столу: «Как колочу я теперь по столу, – кричит Петр, – так разобью

я весь твой отряд, а с тебя, генералиссимус, сдеру шкуру!»

Если бы можно было перенестись в это общество, созванное по воле царя веселить его и самому веселиться, если бы можно было взглянуть на лица растанцевавшихся немокрасавиц и немцев-кукуйцев, мы бы увидели, какой испуг овладел ими при звуках громового голоса Петра; какой ужас оледенил общее веселье, когда увидели зловещие размахи шпаги в руках гневного властелина. Генералиссимусу грозила явная опасность; один миг – и если не шкура, то голова его легко могла бы скатиться под стол; Петр, как мы уже знаем, был вообще недоволен последними распоряжениями Шеина относительно стрельцов... Князь-кесарь Ромодановский и князь-папа Зотов дерзнули удержать государя. Тот не унижался; несколько раз хватил по голове князь-папу и наполовину отрубил пальцы князю-кесарю; два удара, направленные в Шеина, пали на Лефорта, удары были чувствительны, но не смертельны...

«Все, – так повествует очевидец, – были в величайшем страхе»; каждый из русских страшился попасть на глаза государю, да едва ли были храбрее немцы и немки, особенно последние. Анна Ивановна (если только она была на балу) не дерзнула смягчить гнев властелина; за это опасное дело взялся молодой фаворит, и взялся успешно: голова Шеина, а также остальные пальцы его неудачного защитника, кесаря Ромодановского, остались целы. В молодом фаворите мы узнаем Алексашку, того самого Алексашку, который

несколько недель спустя заявил особенную ловкость в отрубании стрелецких голов... Этот фаворит, укрощающий гнев самодержца, этот юноша-палач с выразительным лицом и огненными глазами – знаменитый Александр Данилович Меншиков...

В то время, когда пирует и изволит гневаться его царское величество, когда безвестная немка с бойким фаворитом разделяют его внимание и ласки, что же делает злополучная, забытая царица?

Известно, что еще в бытность свою в чужих краях Петр приказывал довереннейшим из бояр убедить царицу «во свободе» удалиться в монастырь. Царица не соглашалась; надо думать, что духовник и патриарх, лица, на которых, собственно, и легло щекотливое поручение убеждать Авдотью Федоровну, действовали с недостаточным усердием. Петр взялся сам за это дело и не далее как на шестой день по приезде четыре часа провел в секретной беседе с женой. Видно, лаконичная речь Петра не могла склонить бедную женщину к насильному постригу и к вечной разлуке с единственным сыном; по крайней мере, Петр был очень гневен и не замедлил выместить гнев на духовных советниках царицы: в течение двух часов патриарх молил о помиловании его за то, что он не исполнил царского указа запереть царицу в монастырь; оробевший архипастырь винил бояр и некоторых духовных лиц, которые многими доводами не допустили его до этого. Оправдание патриарха еще больше разгневало царя; три ду-

ховных лица были немедленно по его указу брошены в Преображенские тюрьмы. Что же до патриарха, то он едва успел откупиться большими деньгами...

На другой день после описанного нами бала приступлено к решительной мере относительно царицы: любимейшая сестра Петра, царевна Наталья, оторвала от матери ее родное детище; царевич Алексей отвезен был в Преображенское. Мать строго допрашивали: «Почему ты не исполнила несколько раз присланных из Амстердама повелений идти в монастырь? Кто тебя от этого удерживал?»

Царица смиренно ответила, что только долг матери делал ее послушницей царских повелений; она не знала, на кого оставить единственного сына.

«Затем, – пишет Guarient, – ей оказали милость: дозволили выбрать один из двух названных монастырей для пострижения и оставили за ней право носить светское платье».

Царицу увезли в Суздаль, в Покровский девичий монастырь.

Что было причиной развода Петра с женой? Известно, что Устрялов оставил этот вопрос, вопрос не безынтересный и довольно важный для характеристики Петра, нерешенным. Почтенный историк довольно произвольно навязывает Петру сомнения в том, не была ли царица Авдотья в заговоре с Софьею; с не меньшим же произволом он набрасывает на нее тень подозрения: не участвовала ли-де она в замыслах Соковнина, и за всем тем все-таки сознается, «что чем про-

винилась царица перед мужем – остается тайной». Нам кажется, что незачем и доискиваться разъяснения этих тайн догадками об участии царицы Авдотьи в каких-то замыслах и заговорах: не только сочувствовать им, но даже и знать о них царица не могла.

Не надо забывать, что она была матерью двух сыновей, прижитых от своего «лапушки Петруши», не надо забывать, что она горячо любила мужа – о чем свидетельствуют ее письма и ее ревность к государю; малейшего же участия царицы в каких бы то ни было заговорах было бы достаточно для строгой казни; будь это участие – и Петр не стал бы церемониться, тратить время на убеждения жены удалиться «во свободу», на личные объяснения с нею, не стал бы делать ей послаблений, даже и на первое время, как-то: разрешение носить светское платье в монастыре и проч. Нет, натура Петра в таких случаях не сдерживалась ничем, никакими связями родства, никакими приличиями – доказательства этого всем известны.

Итак, не в мнимом и ничем не доказанном сочувствии царицы Авдотьи к делу противников ее державного супруга надо искать причину ссылки и заточенья: причина заключалась в том, что Авдотья Федоровна нимало не соответствовала идеалу Петра; они не сошлись характерами.

Мы представляем себе Авдотью Федоровну идеалом так называемых допетровских женщин, образцом цариц московских XVII века.

В самом деле, скромная, тихая, весьма набожная, она об-
выклась с теремным заточением; она нянчится с малютками,
читает церковные книги, беседует с толпой служанок, с бо-
ярынями и боярышнями, вышивает и шьет, сетует и печал-
лится на ветреность мужа.

Жгучей, страстной, порывистой натуре Петра была нужна
не такая женщина; ему нужна была не безмолвная, вельми
целомудренная царица, одна из тех цариц, к которым, по сло-
вам Котошихина, не допускали иноземных послов из бояз-
ни, что государыня-царица не сказала бы какой-нибудь глу-
пости «и от того пришло б самому царю в стыд».

«Она глупа!» – говаривал Петр о первой супруге. Следо-
вательно, он прямо считал ее такой царицей, «от которой
пришло б ему в стыд»; итак, нужна была женщина, взросшая
не в русских понятиях. Ему нужна была такая подруга, ко-
торая бы умела не плакаться, не жаловаться, а звонким сме-
хом, нежной лаской, шутливым словом кстати отогнать от
него черную думу, смягчить гнев, разогнать досаду; такая,
которая бы не только не чуждалась его пирушек, но сама бы
страстно их любила, плясала б до упаду сил, ловко и бойко
осушала бы бокалы. Статная, видная, ловкая, крепкая мыш-
цами, высокогрудая, со страстными огненными глазами, на-
ходчивая, вечно веселая – словом, женщина, не только по ха-
рактеру, но даже и в физическом отношении не сходная с ца-
рицей Авдотьей, – вот что было идеалом Петра; его подруга
должна была уметь утешить его и пляской, и красивым ино-

земным нарядом, и любезной ему немецкой иль голландской речью с каким-нибудь послом ли иноземным, с купцом ли заморским, иль иноземцем-ремесленником... Понятно, что такая женщина не могла встретиться Петру в семействах бояр в конце XVII столетия; в России он ее мог только найти в Немецкой слободе... Анна Монс, как ему показалось, подошла к его идеалу, она-то и сделалась последним поводом к заточению царицы.

И мы убеждены, вопреки Устрялову, что никаких более важных побуждений, кроме названных нами, не было со стороны Петра; но и их было достаточно для Петра: он отринул от своего ложа жену, даровавшую ему наследника престола.

Как бы то ни было, но дело, к великому соблазну народа, свершилось: царь развелся с женой и затем с необыкновенной энергией начал гасить огонь мятежный.

Кремлевские стены покрываются трупами, московские площади обливаются кровью стрельцов, восставших против «иноземческаго» царя, против бояр да князей, против немцев и немецких нововведений; почти все стрельцы героями умирали за старую Русь, погребаемую Петром, недаром же и доселе народ поет про стрелецкие казни:

Из кремля, кремля, крепка города,
От дворца, дворца государева
Что до самой ли Красной площади,
Пролежала тут широкая дорожка.
Что по той ли по широкой, по дороженьке,

Как ведут казнить тут добра молодца,
Добра молодца, большого боярина,
Что большого боярина, атамана стрелецкого,
За измену против царского величества.
Он идет ли молодец – не оступается,
Что быстро на всех людей – озирается,
Что и тут царю не покоряется.
Пред ним идет грозен палач,
В руках несет остер топор;
А за ним идет отец и мать,
Отец и мать, молода жена;
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
В возрыданьи выговаривают:
«Ты дитя ли наше милое,
Покорися ты самому царю,
Принеси свою повинную,
Авось тебя государь-царь пожалует,
Оставит буйну голову на могучих плечах».
Каменеет сердце молодецкое,
Он противится царю, упрямяствует,
Отца-матери не слушает,
Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует.
Привели его на Красную площадь,
Отрубили буйну голову,
Что по самы могучи плечи.

В продолжение одного октября месяца 1698 года в разные

дни восемь длинейших процессий стрельцов протянулись по улицам столицы: их везли и вели на кровавое побоище. Москва приобывалась к подобным картинам:

Как из славного села Преображенского,
Что из того приказу государева,
Что вели казнить доброго молодца,
Что казнить его, – повесить;
Его белы руки и ноги скованы,
По правую руку идет страшен палач,
По левую идет его мать родная.

Но не легки еще были подобные картины для русского народа, не легко было и самому виновнику страшных зрелищ – царю Петру Алексеевичу. «От мысли о бунтовавших стрельцах, – говаривал он в это время, – гидр отечества, все уды во мне трепещут; помысля о том, заснуть не могу. Такова сия кровожаждущая саранча!»

По свидетельству одного из близких к нему людей, Петра дергали тогда по ночам такие конвульсии во всем теле, что он клал с собой в постель одного из денщиков и только держась за его плечи мог заснуть; судорожное подергиванье головы, шеи и лицевых мускулов в Петре усилилось со времени избиения стрельцов. «Юный фаворит» был с ним неразлучен; Петр сильно привязался к нему; он видел в Алексашке будущего надежнейшего и преданнейшего из своих слуг, ничем не связанного с ненавистной для него стариной; в Мен-

шикове для Петра выросло поколение его ставленников, его «птенцов»... От внимания народа не ускользнула эта любовь к юноше, и он поспешил объяснить ее, разумеется, на свой лад.

– К Алексашке Меншикову, – говорил, между прочим, московский гость Романов одному из своих знакомых, – государева милость такова, что никому таковой нет!

– Што ж, – отвечал знакомый, – молитва о том Алексашки к Богу, что государь к нему милостив.

– Тут Бога и не было; черт его с ним снес... вольно ему, что черт в своем озере возится, желает, что хочет!»¹

В то время, как Петр скасовывает стрельцов, а в народе бродят самые черные истолкования нередко чистых чувств и симпатий Петра, обратимся к той, в обществе которой отдыхал Петр в это полное крови и ужаса время.

Постараемся проследить, с какого времени и при каких обстоятельствах возникло расположение Петра к Анне Монс; что это была за женщина, окончательно «остудившая» его к царице и ускорившая решение ее горькой участи, что это за женщина – которой, по свидетельству иноземцев, от-

¹ Из дел Преображенского приказа: дело гостя Романова, по извету тяглеца золотаря, 30 августа 1698 г. Розыск тянулся год; богатый гость послал Александру Меншикову боченок с 1000 рублями, царь заметил посланного и деньги отправил в Преображенский приказ; Алексашке, однако, удалось удержать у себя 200 рублей, но заступничество его опоздало, Романов умер в тюрьме. Будущий «птенец» Петра и, по его смерти, вершитель судеб России с юных лет обвыкался принимать взятки. (*Прим. автора.*)

дав сердце, Петр непременно бы отдал и корону всея России, если бы только на его любовь красавица ответила такую же страстью? Нечего и говорить, что вследствие всех этих обстоятельств Анна Ивановна выступает из ряда дюжинных любовниц великих персон и заслуживает нескольких страниц в очерках истории царствования Петра Великого.

На правом берегу Яузы, исстари, еще со времен Ивана Грозного, особою слободою поселены были иноземцы разных вер и наций; Немецкая слобода была как бы особым городом, резко выделявшимся как по своему внешнему виду, так и по образу жизни своих обитателей. Разоренный и уничтоженный «в нужное и прискорбное время», т. е. в начале XVII века, «Кукуй-городок» снова возник при царе Алексее.

Шотландцы, голландцы, англичане, французы и другие иноземцы, доселе раскинутые по всей Москве, водворены были теперь в новоиноземческой слободе. Отведенные под нее пустыри быстро покрылись прекрасными домиками, огородами и садами; над слободой возвысились иноземческие кирпичи, и жизнь совершенно особая потекла на Кукуе. Тут были люди всех наций, разных вероисповеданий, языков, «художеств и ремесл». Подле дома генерала подымалось жилище немецкого гостя, близ доктора – жил какой-нибудь виноторговец, далее – золотых дел мастер, плотник и другие ремесленники; генералы и полковники-иноземцы большею частью жили в слободе; из негоциантов здесь были заметнее других дома Кельдермана, «Московского государства пове-

реннаго и чести достойнаго» Даниеля Гартмана, Яна Любса, золотых дел мастера Монса и другие. Тут же жили семейства покойных служилых иноземцев, как, например, генерала Гамильтона и других. Несмотря на сословные отличия и разность занятий, иноземцы, говоря вообще, жили незамкнуто в своих семьях или в небольших кружках. Жизнь общественная, при первых благоприятных для иноземцев обстоятельствах, получила в Кукуй-городке широкое развитие, особенно тогда, когда Московское правительство, в лице Петра, стало им покровительствовать. Почти всех хорошеньких дам и девиц, а красавицами изобиловала слобода, можно было встретить на любой вечеринке у какого-нибудь негоцианта. Вечерние сходки были непрерывны; на них обыкновенно старики и важные иноземцы собирались в отдельном покое, дымили трубками да осушали стаканы, а молодежь без устали танцевала в соседних покоях; тут были и бесконечный польский, и гросфатер, и какой-то танец с поцелуями; пляски, зачастую начатые в 5 часов пополудни, оканчивались к 2 часам утра; устали и церемоний не знали; простота и свобода доходили до грубости; ссоры, драки между подгулявшими кукуйцами были ежедневно...

Тем не менее, люди приезжие невольно дивились тому, как весело проводили время жители иноземческой слободы; не проходило почти ни одного вечера, чтоб они не сходились друг к другу с женами, дочерьми, племянницами...

В то время, когда русская боярыня или боярышня отве-

шивала поклоны за торжественными обедами московской знати либо церемонно лобызалась с почетными гостями по воле хозяина дома; в то время, когда от этих теремных красавиц трудно было добиться других ответов, кроме «да», «нет», «не знаю», в это время на другом берегу Яузы, в семействах и общих собраниях иноземцев, царили относительная свобода, веселье и простота.

Мудрено ли после этого, что пылкий Петр, никак не могши примириться с обрядностью и торжественностью русского быта тогдашних бояр, всей душой полюбил частную и общественную жизнь иноземцев.

Мы не станем, вслед за Устряловым, уверять, что молодого монарха с первых же годов тянула на Кукуй-городок жажда получить от иноземцев «образование для себя и для своего народа»; кто знает молодость Петра (а Устрялову была она известна лучше, чем кому-нибудь другому), тот хорошо знает и то, что государь, по крайней мере в первое время, ласково протянул руку чужеземным пришельцам вовсе не с такою высокою целью, а просто ради веселого и приятного препровождения времени.

Но действительно эти веселые пирушки на Кукуе сделались школою для Петра, и притом такою школою, из которой вынесенное далеко и далеко не все было доброе; здесь-то Петр, по выражению народа, излишне «почал веровати в немцев», недаром же народ с такою ненавистью и озлоблением относился к кукуйцам.

Впрочем, Петр мало интересовался симпатией или антипатией народа; Немецкая слобода довольно рано сделалась для него отраднейшим уголком в Москве; здесь он задолго еще до заграничной поездки переходил от одной потехи к другой, здесь слагались у него планы смелых походов его на берега Черного моря,² здесь за чарами пива и водки выслушивал он длинные и, без сомнения, хвастливые рассказы иноземцев о красотах заморской жизни; здесь, наконец, Петр вкусил радости любви...

Иоанн Монс, уроженец города Миндена, что на Везере, по известиям Корба, был золотых дел мастер; по словам других современников, между прочим посла Гвариента, Монс был виноторговец.

Быть может, оба ремесла служили средством существования этого семейства. Оно прибыло в Россию во второй половине XVII столетия: Монс приехал из города Миндена с двумя аттестатами от городских властей о его способностях и учении, с женой, весьма заботливой хозяйкой, и с несколькими детьми. Рассказы и письма кукуйцев, прежних выходцев из-за границы, родственные связи и, наконец, что самое важное, надежды на обогащение – привлекли Монса в столь

² «По указу государеву, ныне, в 1697 году, нам гостям, говорили недовольные купцы, указано устроить корабли на Воронеже; а чорт ли его государя несет под Царь-город; жаль силы что пропадет, а он государь хоть бы и пропал – мало горя!» (Дел. Преобр. приказа 1698 г.). Подобные толки показывают, как неохотно принимал народ даже те повеления нелюбезного ему государя, которые явно клонились к пользе и величию России. (Прим. автора.)

отдаленную Московию.

В грамотах, привезенных им с собой, сказано было, что Иоанн в имперском вольном городе Вормсе два года обучался с большим успехом «бочарному мастерству»; без сомнения, это же ремесло, а затем более выгодная спекуляция – виноторговля – и дали средство Монсу к безбедному существованию.

У него было три сына; из них нам известны Филимон и Виллим, и две дочери: Модеста, в русском переводе – Матрена, и Анна.

С домом старика Монса хорошо был знаком с самого приезда своего в Россию, т. е. с 1676 года, знаменитый Лефорт; гуляка, поклонник женской красоты, он часто бывал у виноторговца и ухаживал за хорошенькими дочерьми; из них старшая скоро вышла замуж за иностранца Федора Балка.

Если верить Гвариенту, а не верить ему нет основания, младшая из сестер Монс сделалась любовницей ловкого женева.

Монсы, по словам Гюйсена, принимали Лефорта очень гостеприимно. Потом, когда при стрелецком восстании Лефорт выказал свою приверженность царю и был за то награжден высокими государственными званиями, тогда он из похвального великодушия (слова Гюйсена) остался признательным к Монсам, возвышал их и вообще старался сделать эту фамилию соучастницею своего счастья.

Так объясняет причину возвышения Монсов Гюйсен, из-

вестный воспитатель царевича Алексея и автор хвалебных брошюр о Петре I. Дело, как кажется, было проще; ни о каком похвальном великодушии речи не было; Лефорт всегда старался потешать своего державного питомца, доставлял ему всякого рода развлечения и, разумеется, как на веселую и приятную утеху указал на красавицу Монс...

Анна Ивановна, по словам более правдивого Гвариента, сделалась фавориткой обоих друзей.

Почти одновременно с любовью к Монс, около 1692 года, начинается охлаждение Петра к его законной супруге; он неохотно с ней переписывается, не отвечает на ее письма, не обращает внимания на ее упреки; в 1693 году государь бьет ее брата Аврама Лопухина, бьет по щекам за ссору его с Лефортом. Вскоре царица с глубокою скорбью пишет к мужу: «Только я бедная, на свете безчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровьи своем. Не презри, свет мой, моего прощения...» Но «свет» не внемлет ее пеням и, между поездками на Белое море, между воинскими потехами в окрестностях Москвы, ищет отдыха не у нее, «безчастной», а в обществе Лефорта и своих друзей, в доме красавицы Кукуй-городка.

Можно представить себе после этого, с каким негодованием смотрела царица Авдотья на Немецкую слободу; и станем ли мы винить ее, вслед за Устряловым, за то, что она считала кукуйцев за нехристей и развратников: ведь слободская немка оторвала от ее ложа «лапушку свет Петрушеньку».

Между тем государь два раза слетал под Азов:

Под тот ли под славный под Азов город,
Что под те ли стены белокаменные,
Ах под те ли под раскаты, под высокие...

А тут путешествие за границу; Петр оставляет жену под надзором бояр и духовных, им и поручает удалить ее в монастырь; что же до Анны Монс, то ее осыпает подарками и, в знак благоволения, берет с собой ее старшего брата Филимона.

Народ не замедлил подметить разрыв царя с царицей и глухо заговорил о том, будто бы бояре бьют уже государыню по щекам...

Таковы были отношения Петра к двум женщинам, когда весть о стрелецком восстании заставила его преждевременно возвратиться в Москву. Мы видели, как с первого же вечера вспыхнула в нем прежняя страсть к Анне Ивановне. Отсюда значение ее все более и более растет.

Насколько же заслуживала безвестная немка любовь Петра?

Иностранцы и преимущественно немцы отзываются о ней с большими похвалами. Helbig, например, сводит отзывы всех об Анне Монс, и на основании этого свода выходит, что «эта особа служила образцом женских совершенств: с необыкновенной красотой она соединяла самый пленительный характер; была чувствительна, не прикидывалась

страдалицей; имела самый обворожительный нрав, невозмущаемый капризами, не знала кокетства, пленяла мужчин, сама того не желая, была умна и в высшей степени добросердечна». Кроме этих отменных качеств, по уверениям тех же немцев, Анна была до такой степени целомудренна, что на любовные предложения Петра отвечала решительным отказом.

Эти восторженные отзывы немцев, вызванные желанием возбудить сочувствие к судьбе своей единоземки, разлетаются при первом знакомстве с подлинными документами и с рассказами беспристрастных современников. Так, целомудрие было не в характере Анны Ивановны; с легкой руки Лефорта она всецело отдалась Петру; об этом заговорили везде: в домах иноземцев, в избах простолюдинов, в колодничьих палатах.

– Относил я венгерскую шубу к иноземке, к девице Анне Монсовой, – говорил, между прочим, немец, портной Фланк, аптекарше Якимовой, – и видел в спальне ее кровать, а занавески на ней золотые...

– Это не ту кровать ты видел, – прервала аптекарша, – а вот есть другая, в другой спальне, в которой бывает государь; здесь-то он и опочивает...

Затем аптекарша пустилась в «неудобь-сказываемая» подробности.

– Какой он государь, – говорит о Петре колодник Ванька Борлют в казенке Преображенского приказа одному из сво-

их товарищей-колодников, – какой он государь! Бусурман! В среду и пятницу ест мясо и лягушки... царицу свою сослал в ссылку и живет с иноземкою Анною Монсовой...

Петр решительно стал смотреть на нее как на будущую свою супругу-царицу: смерть Лефорта, лишив его любимейшего друга, в то же время избавила царя от совместника и вывела из неловкого положения «верную» ему Анну – так она подписывала свои письма.

В конце апреля 1699 года государь отправился в последний поход под Азов, и его суб-супруга поспешила завязать с ним нежную переписку; к сожалению, из нее уцелело только пять писем Анны Монс, но их довольно, чтоб судить о характере корреспонденции и о характере писавшей; что до ответов Петра, то они не дошли до нас: их, как кажется, уничтожили в год разрыва государя с его фавориткой.

Уцелевшие письма Анны к государю писаны по-русски, за исключением подписей и маленьких приписок ее руки частью на немецком, частью на голландском языках, но, так как Анна по-русски писать не умела, то русский текст писан рукой секретаря.

В этих письмах мы находим обычные пожелания: «милостивейшему государю Петру Алексеевичу» желаю «многолетняго здравия и счастливаго пребывания», затем убедительнейшая просьба: «дай государь милостиво ведати о своем государском многолетном здравии, чтоб мне бедной о твоём великом здравии всем сердцем обрадоваться»; впро-

чем, подобных просьб расточать, кажется, доводилось не много, так как в пяти письмах Анны мы находим две ее благодарности государю за его ответы: «Челом бью милостивому государю за премногую милость твою, что пожаловал, обрадовал и дал милостиво ведать о своем многолетнем здравии чрез милостивое твое писание, об котором я всем сердцем обрадовалась, и молю Господа-Бога» и проч., «и дай Бог, чтобы нам вскоре видеть милостивое пришествие твое».

Из этих церемонных, официальных фраз можно думать, что Петр не доводил еще Анну до излишней с ним короткости, но, однако, тут же мы находим знаки нежных забот «Аннушки» о своем герое.

Она хлопочет, по его просьбе, достать несколько скляниц какой-то «цедреоли»; «вельми печалится», что не удастся ее достать; жалеет, что у нее «убогой крыльев нет», а «если бы у меня убогой, – пишет Анна Монс, – крылья были и я бы тебе, милостивому государю, сама принесла (цедреоль)».

В ожидании, пока вырастут крылья, или, по крайней мере, добудет заветный напиток, «вернейшая до своей смерти» Анна Ивановна посылает «четыре цитрона и четыре апельсина», чтоб государь «кушал на здоровье», а наконец посылает и цедреоли двенадцать скляниц, причем просит не гневаться: «больше б прислала, да не могла достать».

С такими нежными заботами относительно государя, казалось бы, Анна Ивановна решительно должна была приковать к себе эту пылкую натуру: так и случилось, но ненадол-

го.

Красавица, ангелоподобное существо, какую изображают ее чувствительные немцы, не любила Петра; она и отдалась-то ему только из корысти, ради собственной прибыли и возвышения своей фамилии. Еще не успев заявить себя ничем, кроме как посылками апельсинов, лимонов и цедреоли, никакими более важными подвигами преданность своему благодетелю, Анна уже торопилась вмешаться в разные тяжбы и ходатайствовать перед государем в делах, которые вовсе до нее не касались. Много ли уцелело ее писем к Петру, а в двух из них она просит за вдову Петра Салтыкова в деле ее с Лобановым, молит о перенесении этого дела из одного приказа в другой и о том, чтоб не чинить правёж³ людям Салтыковой. Впрочем, на первые разы Анна Монс просит осторожно, с оговорками: «Пожалуй, государь, не прогневайся, что об делах докучаю милости твоей».

И, между тем, продолжала докучать не только о чужих делах, но спешила позаботиться о составлении собственного достатка. «Благочестивый великий государь, царь Петр Алексеевич, – писал секретарь под диктовку Монс, – многолетно здравствуй! О чем, государь, я милости у тебя, государя, просила, и ты, государь, поволит приказать Федору Алексеевичу (Головину) выписать из дворцовых сел волесть: и Федор Алексеевич, по твоему государеву указу, вы-

³ Правёж – по древнерусскому феодальному праву, способ исполнения судебного решения.

писав, послал к тебе, государю, чрез почту; и о том твоего государева указу никакого не учинено. Умилостивися, государь, царь Петр Алексеевич, для своего многолетнего здравия и для многолетнего здравия царевича Алексея Петровича, свой государев милостивый указ учини...»

Не находя еще убедительным такой, в высшей степени странный (в устах виновницы ссылки царицы), аргумент, как подарок волости – «для многолетнего здравия царевича», – Анна Ивановна собственноручно приписала: «Я прошу, мой милостивейший государь и отец, не презри мою нижайшую просьбу, ради Бога, пожалуй меня, твою покорнейшую рабу до моей смерти А. М. М.».

Все эти убеждения и заклинания были не более как приличием; Анна Ивановна могла обойтись и без них: Петр с полною готовностью выполнял все ее просьбы и, мало этого, несмотря на известную свою бережливость в отношении к женщинам, доходившую до скупости, осыпал красавицу щедрыми подарками; довольно упомянуть об одном из них, чтоб судить об остальных: государь подарил ей свой портрет, осыпанный драгоценными камнями на сумму в 1000 рублей! Кроме этого, Анна Ивановна получила несколько имений с разными угодьями и выпросила себе ежегодный пенсион; внимание к ней государь распространил до того, что на счет казны выстроил ей в Немецкой слободе, близ кирки, огромный – конечно, по тогдашнему времени – палаццо.

Не довольствуясь этим и увлекаемая частью собственны-

ми склонностями к стяжанию, частью убеждениями матери, Анна Ивановна, как уже мы видели, стала мешаться в разные тяжбы; она и ее родные не жалели своих клиентов и собирали от них много драгоценностей... Подобные вмешательства тем легче были для Монс, что, по свидетельству Гюйсена, даже «в присутственных местах было принято за правило: если мадам и мадемуазель Монс имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то о том делались особенные пометки и вообще Монсам в делах до их имений должно было оказывать всякое содействие». «Они этим снисхождением так широко воспользовались, – продолжает Гюйсен, – что принялись за ходатайство по делам внешней торговли и употребляли для того нанятых стряпчих (адресатов и ходатаев по делам)».

Дела довольно разнообразного свойства обделывались при посредничестве Анны Ивановны; расскажем со слов современника одно из таких дел.

В 1699 году состоял в Москве на службе артиллерийский полковник – иноземец Кrage, как кажется, именно тот, который пушечными залпами под Воскресенскую обителью спас Кукуй от огня и ножа стрельцов; однажды пьяный гайдук Кrage в присутствии барина избил и изуродовал минера Серьера. Гайдука наказали кнутом; минер не удовольствовался этим и по выздоровлении подал на полковника счет, что стоило ему лечение; хлопоты свои Серьер начал через фаворитку царя, и «ея дочь», говорит Плейер; но австрийскому послу

два раза удалось защитить полковника: минер получил отказ в своей претензии, но на беду случилось, что Krage как-то поссорился с девицею Монс и тем навлек на себя ненависть всего семейства; в то время, когда Krage неосторожно ссорился с Монс, противник его вызвался у этой госпожи заведывать ее делами и хозяйством и так умел к ней подбиться, что та, по выражению Плейера, «настойчиво ходатайствовала за него у царя», и Петр, вопреки двукратному отказу в претензии минера, приговорил Krage к штрафу в 560 рублей.

Государь, под влиянием кукуйцев, по выражению народному, все более и более «онемечивался»; в этом влиянии, разумеется, значительную долю имела и обворожительная Анна Ивановна; в январе 1700 года на всех воротах Москвы появились строгие объявления всем мало-мальски зажиточным русским людям зимою ходить в венгерских кафтанах или шубах, летом же в немецком платье; мало этого, отныне ни одна русская дворянка не смела явиться пред царем на публичных празднествах в русском платье...

И «все то, – заговорил народ, – найде нам скорбь и туга велия по зависти диавольской и пришельцев иноверных языков; влезли окоянные татски, яко хищницы волцы в стадо христово!»

Военные тревоги, страшная борьба с «северным героем», занимавшая молодого государя, давали полный простор действовать в собственную пользу «пришельцам иноверных языков»; этой цели верна была все время Анна Ивановна.

Обогадившись от щедрот своего благодетеля, сластолюбивая немка скоро забыла все благодеяния государя, забыла, что шкапы и гардероб ее наполнены ею же выпрошенными драгоценными подарками... она изменила ему и отдала свое сердце саксонскому посланнику Кенигсеку...

Эта личность нам мало известна; знаем только, что в 1702 году он поступил в русскую службу и сопровождал царя Петра в его походах. Новая связь была искусно скрыта, и недостойная подруга Петра была до такой степени нагла, что, уж изменивши ему, не стыдилась еще выпрашивать и получать от него подарки. А подарки были не малоценны: они состояли ни больше ни меньше как из русских крестьянских душ.

Так, в январе 1703 года Анна Ивановна получила в свое владение село Дудино в Козельском уезде, 295 дворов со всеми угодьями.

Петр сведал об измене «верной до смерти» Аннушки совершенно случайно. Эта случайность рассказывается иноземными писателями и писательницами со всевозможными романическими прикрасами; благодаря им Анна Ивановна делается какой-то страдальцей-героиней, вызывающей сочувствие. Напомним чувствительнейший из подобных рассказов; он принадлежит леди Рондо, писавшей пятнадцать лет спустя после смерти Анны Монс:

«Петр в продолжение нескольких лет с большою нежностью любил дочь одного офицера, по имени Мунса, и, казалось, был взаимно любим ею. В один несчастный день он по-

шел осматривать крепость, строившуюся на море, в сопровождении своих и иностранных министров. На возвратном пути польский министр случайно упал в воду с подъемного моста и утонул, несмотря на все усилия спасти его. Император приказал вынуть все бумаги из его карманов и запечатал их в присутствии всех. При дальнейшем осмотре выпал портрет; государь поднял его и – представьте его удивление! Портрет изображал его любезную. Он разламывает конверт, развертывает бумаги и находит в них многие письма руки ее к умершему, написанные в самых нежных выражениях. Оставив общество, государь приказал позвать изменницу...» Затем леди передает, со слов какой-то придворной дамы, подробности объяснения Петра с Анною. Государь горько укоряет неверную: та плачет, но плачет не от раскаянья, а от глубокой скорби о покойнике. Петр тронут этою страстью, сам (будто бы) проливает слезы и говорит речь, в которой, хотя прерывает связь с Анной, но тем не менее великодушно прощает ее, обнадеживает, что она ни в чем не будет нуждаться; после того Петр в скором времени выдает замуж свою любезную за одного чиновника, которому дает место в отдаленной провинции; «монарх, – заключает рассказчица, – заботился об их счастье до конца жизни и оказывал к ним постоянно свою любовь».

Рассказ этот в своих подробностях совершенно опровергается Миллером, ученым, как известно, занимавшимся русской историей по архивным подлинным источникам. В од-

ном из рукописных примечаний своих на письма леди Рондо Миллер так передает трагический случай: «При осаде Шлюссельбурга в 1702 году Петр узнал, что обворожительная „domicella Mons“ ему не верна и что она вела переписку с саксонским посланником Кенигсеком. Кенигсек провожал государя в этом походе и однажды, поздно вечером, проходя по узенькому мостику, переброшенному чрез небольшой ручей, оступился и утонул.

Первая забота государя при известии о смерти Кенигсека была осмотреть бумаги, бывшие в карманах покойника; в них государь надеялся найти известия относительно союза его с королем Августом и вместо них нашел нежные письма своей фаворитки. Domicella Mons слишком ясно выражала свою преступную любовь к Кенигсеку; сомнения быть не могло. О портрете, – продолжает Миллер, – тайная история умалчивает. После этого случая государь не хотел уже знать неверную фаворитку, и она, таким образом, лишилась большого счастья, которого непременно бы достигла, если бы сумела превозмочь неосторожную склонность к Кенигсеку».

В рассказе Миллера только одно не ясно: или год смерти Кенигсека выставлен неверно, вместо 1703–1702, или Петр I не тотчас по смерти саксонско-польского посла узнал о связи его с Анною Монс; так, по крайней мере, можно думать по прочтении следующего места в письме государя к Ф. М. Апраксину:

«Шлюссельбург, 15 апреля, 1703 года... здесь все изряд-

но милостию Божиею, только зело несчастливый случай учинился за грехи мои: первый, доктор Лейм, а потом Кенисен, который принял уже службу нашу, и Петелин утонули внезапно, и так вместо радости – печаль»; трудно допустить, чтобы Петр изъявлял такое сожаление о человеке, который разбил его любовь к преемнице царицы Авдотьи: явно, что во время отпуска письма Петр еще ничего не знал об измене Монс; быть может, бумаги покойника сохли или были еще запечатаны.

Верно, однако, то, что щеголять великодушием Петр и не думал: Анна Ивановна и ее сестра (вероятно, способствовавшая интриге) были заперты в собственном доме и отданы под строгий надзор князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского с запрещением посещать даже кирку.

В это бедственное для себя время Анна Ивановна всячески старалась вновь возбудить страсть к себе государя.

В бумагах семейства Монс мы находим разные гадальные тетради, рецепты привораживаний, колдовства, списки чародейных перстней и т. п. вещей. Анна Ивановна, женщина в высшей степени суеверная, вместе с матерью, по выражению современника, «стали пользоваться запрещенными знаниями и прибегали к советам разных женщин, каким бы способом сохранить к их семейству милости царского величества». Колдовство не помогло, оно вызвало только извет на Монс и следственное о том дело.

«Хотя за подобные поступки, – писал в 1706 году защит-

ник и панегирист Петра Гюйсен, – за колдовство и ворожбу в других государствах было бы определено жесточайшее наказание, однако его царское величество, по особенному милосердию, хотел, чтоб этот процесс был совершенно прекращен, но *ex capite ingratiitudinis* (из источника неблагодарности) от Монсов отобраны деревни, и каменный палаццо отошел впоследствии под анатомический театр. Драгоценности же и движимое имущество, очень значительное, были оставлены им, за исключением одного только портрета, украшенного брильянтами...»

Опала над Анной Ивановной и ее семейством продолжалась до 1706 года; указом от 3 апреля сего года из С.-Петербурга государь «дал позволение Монше и сестре ея Балкше в кирху ездить». Муж Матрены Ивановны, полковник Балк, отправлен был в Дерпт комендантом, «а остальные члены семейства, – писал Гюйсен в 1706 году, – живут свободно, но уже не могут рассчитывать и не имеют права, чтоб оказанные им сначала милости остались при них на вечные времена».

Подобные расчеты со стороны Анны Ивановны были бы большою глупостью: с 1705 года сердце Петра принадлежало уже новой безвестной иноземке, но то была знаменитая впоследствии царица Катерина Алексеевна!

Зато и сердце ее предшественницы в это время было также не свободно; изменив живому герою, Анна Ивановна тем легче забыла умершего; в 1706 году за ней ухаживает и о ней заботится прусский посланник фон Кейзерлинг. Его

ходатайству Анна Ивановна обязана была получением высочайшего разрешения посещать кирки; затем, по усиленным просьбам того же влюбленного представителя короля прусского, Анна Монс была совершенно освобождена.

В ком же находил Кейзерлинг оппозицию своим стараниям, кто не мог допустить мысли об освобождении прежней царской фаворитки? Сам ли Петр или его окружающие?

Разумеется, частью сам государь, столь неохотно забывавший какие бы то ни было прегрешения своих подданных пред его пресветлым величеством, но более всего действовал против освобождения Анны Ивановны Монс знакомый уже нам «Алексашка».

Меншиков из резвого, милovidного юноши обратился теперь в статного мужчину; наивность, с которой он брал сотняшки рублей, заменилась взяточничеством в более широких размерах; ловкость, с какой он отрубал головы стрельцов, выместилась необыкновенным искусством вести придворные интриги и поддерживать свое значение. Он приблизил к Петру Марту Скавронскую, Катерину «Василефьскую» тоже; он навсегда мог рассчитывать на нее как на самую ревностную свою защитницу; а потому понятно: все, что могло ослабить интимные нежные отношения Петра к Катерине Алексеевне, то всячески было устраняемо Меншиковым. Он встревожился, узнав об усилиях прусского посла освободить красавицу «Кукуя»; в ней любимейший «птенец» Петра видел еще опасную соперницу Катерине; так что Кейзер-

линг 28 июня ст. ст. (9 июля нов. стиля) 1707 года в Варшаве (не в Варшаве, а близ города Люблина, в м. Якубовицах), по известию Миллера, имел по этому поводу неприятности с Меншиковым, и государь встретил хлопоты Кейзерлинга с большим неудовольствием и только впоследствии позволил себе смягчиться.

Но весь эпизод «неприятностей», постигших в 1707 году представителя короля прусского при дворе царя Петра – Георга Иоганна фон Кейзерлинга, до того выходит из ряда событий даже характерной петровской эпохи, до того характерен и необычен в истории европейской дипломатии, до того интересен, что мы остановимся на нем подробнее и передадим его словами вельми обиженного Георга Иоганна фон Кейзерлинга.

Хлопоты Кейзерлинга об освобождении из-под домашнего ареста его возлюбленной невесты Анны Монс, как мы заметили выше, были нележки: они сопровождались для Кейзерлинга длинным рядом весьма существенных неприятностей; с одной стороны, Меншиков, могущество которого находилось на высшей степени, создавая в это время «фавор» Марты, не мог без опасения видеть, что Кейзерлинг хлопочет об освобождении бывшей царской фаворитки, с другой, – и в самом Петре не могло не шевелиться чувство ревности к человеку, привязанность к которому вытеснила из сердца Анны Ивановны любовь к нему.

Все эти обстоятельства надо иметь в виду, чтобы понять

причины той трагикомедии, героем которой сделался Кейзерлинг в 1707 году близ Люблина, где находилась в то время главная квартира русской армии, ожидавшей Карла XII. В нижепомещаемых депешах самого Кейзерлинга читатели найдут самый обстоятельный его рассказ о столкновениях с государем, также с Меншиковым и их приближенными. Рассказ этот является в депешах, извлеченных из главного императорско-королевского секретного архива в Берлине; это весьма живая, хотя и далеко не привлекательная картина быта и нравов двора Петра I.

Депеши Кейзерлинга, из которых мы приводим здесь выдержки, писаны на немецком языке, слогом своего времени, крайне неуклюжим, периодами чрезмерно длинными и спутанными.

Государственный тайный секретарь Шафиров (так называет его Кейзерлинг) и генерал-лейтенант Ренне много содействовали мирной развязке всего этого дела и столь успешно и горячо, что царь Петр Алексеевич изъявил согласие на оставление послом при его дворе Кейзерлинга, а тот просил своего короля наградить Шафирова жеребцами ценою в 600 талеров, а генерала Ренне – милостивым рескриптом.

Вообще, развязка этой трагикомедии была довольно смешная: Кейзерлинг, избитый князем Меншиковым и его солдатами, сам же писал к нему и царю извинительные письма и, измышляя обидчиков уже в солдатах, а не в князе Мен-

шикове, просил возмездия за обиду.

Дело сводилось, таким образом, на пустую формальность возмездия, и вся окраска происшедшего столкновения через некоторое время вдруг изменяется в устах самого обиженного.

В депешах современника Кейзерлинга сэра Чарльза Витворта – английского посланника при русском дворе (1704–1708 гг.) – есть несколько подробностей, частью выясняющих, частью дополняющих неприятное событие, постигшее представителя короля прусского. Приводим эти подробности.

Кейзерлинг в начале марта 1707 года получил в Москве приказание отправиться к царю в Польшу.

«Этого путешествия, – замечает английский посланник Чарльз Витворт, – представитель Пруссии не ожидал, так как прежде не получал никакого намека на его возможность. Собирался Кейзерлинг в путь весьма неторопливо...»

Витворт догадывался, что прусский двор дает поручение своему посланнику склонить царя Петра на сторону Станислава Лещинского,⁴ которого большая часть Европы уже была расположена признать за короля польского.

«Как это поручение, так и вообще все положение Кейзерлинга как посланника Пруссии было не таково, чтобы возбуждать сочувствие к нему Петра. Напротив, свойство пору-

⁴ Лещинский Станислав (1677–1786) – польский король в 1704–1777 гг. и в 1733–1734 гг.

чения, данного сему посланнику его правительством, было таково, что оно вызывало чувство раздражения русского государя. В самом деле, еще в июле 1706 года берлинский двор настойчиво советовал царю Петру, чрез Кейзерлинга, поспешить с заключением мира со Швецией, возвратить ей все отнятые у нее земли и вознаградить ее за все убытки, понесенные в Ливонии... Между тем еще недавно тот же посланник подавал московскому двору надежды совершенно иного характера». Такое отступничество прусского короля в сторону противников России, интриги, каким отдался берлинский двор с целью отклонить прочие державы от союза с Московским государством, довели раздражение царя Петра до высшей степени, и оно сказалось в резких отношениях его к представителю Пруссии – Кейзерлингу.

Весть о побоях, полученных представителем короля прусского, быстро пролетела как за рубеж Московского государства, так и в Москву.

«Вы, полагаю, – писал из Москвы уполномоченный Англии сэр Чарльз Витворт статс-секретарю Гарлею в Лондон, от 30 июля ст. ст. 1707 года, – уже получили полный отчет о несчастии, которое постигло Кейзерлинга в день св. Петра при большом празднестве, на котором он поссорился с князем Меншиковым. От слов дело дошло до побоев. С тех пор посланнику этому запрещено являться ко двору и к царю; он же, со своей стороны, послал нарочного к королю прусскому с известием о случившемся... Событие это, – заключает

Витворт, – в некоторой степени касается всех иностранных уполномоченных, хотя, говорят, первый повод к ссоре был совершенно частного характера».

Из этих строк видно, как сдержанно и осторожно писал Витворт. Осторожность эта вызывалась опасением, как это видно из многих его депеш, что посланный его будет остановлен, депеши перехвачены и вскрыты агентами русского правительства. Собственно, эпизод избиения Кейзерлинга заключался, по известию Витворта (депеша 10 сентября ст. ст. 1707 года), в том, что «король прусский, получив сообщение русского двора, не одобрил поведение своего уполномоченного. Дело теперь улажено: Кейзерлинг извинился двумя письмами к царю и Меншикову, объяснив случившееся слишком щедрым угощением; они же, со своей стороны, заявили готовность не только все забыть, но еще, в знак уважения его величества к королю прусскому, строго наказать лиц, нанесших оскорбление посланнику. По разбору дела два гвардейца, признанные наиболее виновными, приговорены были к смертной казни, по предварительном уверении датского посланника, что Кейзерлинг будет, от имени своего государя, просить об их помиловании, после чего они явятся к нему благодарить за дарованную жизнь. Все это выполнено было в точности, так как, по личным соображениям, Кейзерлинг не захотел воспользоваться полученным от короля прусского разрешением выехать из России».

Примирение было далеко, однако, неискреннее. Это вид-

но, между прочим, из того, что согласия на брак с Анной Монс Кейзерлинг добился весьма не скоро.

Забытая Анна Ивановна хотя и была освобождена, но только в 1711 году сочеталась она первым законным браком: счастливым обладателем ее руки сделался фон Кейзерлинг.

По уверениям иностранцев, Петр любил Анну Ивановну до самого брака ее с Кейзерлингом и притом не только не получал ответа на свою любовь, но даже нашел в ней сильнейший отпор, что так редко случалось, как восклицает Helbig, «с великородным *liebhaber*». «Меншиков и Катерина, – продолжает тот же писатель, – рисковали потерять все, если бы красавица (Монс) уступила. Меншиков употреблял весь свой ум, чтоб воспрепятствовать намерениям Петра. Ему, вероятно, пришлось бы отступить пред пылкой страстью своего властителя, если б самая твердость девушки не помогла желаниям Меншикова и Катерины. Если Катерина при посредственной любезности сумела возвыситься до звания русской императрицы, то более чем вероятно, что прекрасная Анна Монс со своими превосходными качествами гораздо бы скорее достигла этой великой цели. Но она предпочла судьбу и *geliebten* (возлюбленного), т. е. Кейзерлинга. И первая, и последний очень и очень превосходили происхождение и ожидания девушки, но все же были к ней ближе, чем престол и царь; она тайно обручилась с прусским посланником Кейзерлингом. Петр узнал об этом, продолжает Helbig, когда только что собирался отправиться куда-то на

бал, узнал из перехваченного письма, в котором Анна жаловалась на неотвязчивость монарха. Это несчастное открытие превратило любовь его в гнев. Государь отправился на бал, встретил красавицу и представил ей чувствительное доказательство своего неудовольствия. „Больно видеть, – восклицает рассказчик, – что этот великий человек, которому охотно простят какую-нибудь опрометчивость, имел низость потребовать подаренный дом обратно“.⁵ Чтобы не подвергнуть ее новым неприятностям, Кейзерлинг решился тотчас же на ней жениться, но в это самое время впал в жестокую болезнь, которая и свела его в могилу; впрочем, он, как честный человек, исполнил свое обещание: уже будучи на смертном одре, он обвенчался с прекрасной Монс, после чего вскоре и умер. Вдова его осталась в Москве, где скончался ее супруг. Она проводила свои дни вдали от двора, с достоинством, в тиши домашней жизни и погруженная в воспоминания о своих последних несчастных обстоятельствах и умерла там же».

⁵ Кстати, как о факте, свидетельствующем, как сурово закон в описываемое нами время оберегал на Руси верность жены их мужьям и как жестоко казнил жену, не только изменившую супругу, но и убившую его, приводим рассказ того же Чарльза Витворта. 19 ноября 1706 г. русская женщина, занимавшая в московском обществе хорошее положение, за убийство ею мужа подвергнута была ужасной казни вместе с двумя сообщниками в преступлении: «В яму, вырытую на площади, женщину-убийцу опустили живою и засыпали ее там до плеч; затем прямо пред ее глазами поставили плаху, на которой тут же обезглавили прислужницу, помогавшую убийце; другого сообщника – управителя и вместе любовника зарытой – повесили прямо над ее головою... сама же она оставалась без пищи и питья до ночи 24 ноября, когда, наконец, землю вокруг нее прибили плотнее с целью ускорить смерть...». (Прим. автора.)

Мы не без умысла привели весь этот романический эпизод из интересного сочинения Helbig'a; дело в том, что книга эта в 1860-х годах служила одним из употребительнейших источников не только для составителей монографий из русской истории XVIII века, но даже и для Herrmann'a, автора одной из лучших «Geschichte d. russisch. Staats»; между тем, все рассказы автора «Russische Cunstlinge» требуют большой критики, и нужно пользоваться ими с крайнею осторожностью. Тайный советник при саксонском посольстве, аккредитованный в 1787 году к петербургскому двору, Helbig, конечно, имел случай собрать много интересного; но он слишком увлекся анекдотической стороной быта прошлых царствований и слишком широко пользовался изустными рассказами, доходившими до него зачастую в совершенно искаженном виде, как легенды или придворные сплетни. Доказательство отыскать не трудно; в приведенном выше рассказе все или искажено, или спутано: о Кенигсеке не упомянуто ни слова, Кейзерлинг сделан виновником окончательного разрыва Петра с Анной Ивановной; опала над ней, вопреки Helbig'у, разлилась над Монс гораздо раньше; легкомысленная сластолюбивая немка является у тайного советника героиней чувствительного романа, что опять противоречит истине; затем Кейзерлинг умер вовсе не так скоро и, вопреки Helbig'у, скончался не в Москве, а в Столпе, на дороге в Берлин, 11 декабря 1711 года; затем, насколько «достоинство» было в характере Анны Ивановны и насколько погрузилась она на

закате дней своих в «размышления о последних несчастных обстоятельствах», – мы увидим из ее собственных писем.

Эти письма не имеют отношения к Петру, но они осветят нам нравственный облик той женщины, которая была окончательной виновницей заточения законной супруги Петра и царицы Авдотьи Федоровны Лопухиной и которая в продолжение почти десяти лет не только сама царил в сердце преобразователя России, но, по собственному признанию преобразователя России, – едва не сделалась его законною супругою, государынею вся России.

В конце 1711 года семейство Монс было разбросано в разных местах: старуха-мать лет пятнадцать уже лежала в постели, в страданиях от какой-то хронической «ножной» болезни; отдельно от нее в деревянном домике, в Немецкой слободе, жила Анна Ивановна с двумя малютками (Кейзерлингами?) и двумя служанками: Марьей и Гертрудой; последняя была шведская полоняночка, с 6-летнего возраста, ради ее сиротства, пригретая Анной Ивановной и затем при ней возросшая. Гертруда была ее ключница и ближайшая ее наперсница. Тревоги житейские и действие страстей поколебали здоровье Анны Ивановны, еще молодой женщины; она таяла как свечка, харкала кровью и зачастую по несколько месяцев лежала в постели, часто впадая в бессознательное состояние.

Старшая сестра ее, с которой мы еще не раз встретимся, бойкая, разбитная Матрена Ивановна, была в это время с му-

жем в Эльбинге, занятом русскими войсками. Балк был назначен туда комендантом. Старший и младший братья скончались в 1710–1711 годах, а средний брат, Виллим Иванович, в качестве генеральс-адъютанта, состоял при государе и был беспрестанно командиром с места на место с разными поручениями. В 1711–1713 годах мы его видим в Курляндии, в Данциге, Кенигсберге, Берлине и в других местах; в подобных же командировках проходила служба племянника его, однолетнего с ним Петра Федоровича Балка.

Вся семья была очень дружна; все заботились о семейных интересах, и между ними шла самая оживленная переписка; особенно горячо принимала в ней участие мать Монсов, старуха, вечно жалующаяся на судьбу свою, на бедность и проч. В этой корреспонденции, разумеется, интереснее всего для нас письма Анны Ивановны; постараемся собрать из них более типичные черты.

11 декабря 1711 года, в бытность свою за границей, скончался Георг Иоганн Кейзерлинг. Насколько опечалились Монсы, неизвестно; зато известно, как сильно встревожились они, узнав, что на деньги, драгоценные вещи и остальное движимое и недвижимое имение покойника, находившееся в Курляндии и в Пруссии, заявил претензию старший брат покойного – ландмаршал прусского двора.

Боязнь лишиться богатого наследства до такой степени встревожила Анну Ивановну, что она даже забыла приличным образом оплакать покойника и вся отдалась заботам

удержать за собой и деньги, и имущество; то и другое составило предмет ее дум, о том и другом плакалась она в своих письмах.

«Любезный, – писала она к брату 14 февраля 1712 года, – от всего сердца любимый братец! Желая, чтобы мое печальное письмо застало тебя в добром здоровье; что до меня с матушкой, то мы то хвораем, то здоровы; нет конца моей печали на этом свете; не знаю, чем и утешиться»; и затем, однако, должно быть, для утешения, просит привезти вещи и деньги ее мужа в Москву, «потому что лучше, – замечает Анна Ивановна, – когда они у меня, чем у чужих людей».

Главным ходатаем ее по делам с Кейзерлингом-старшим был некто Лаусон; ему расточали Анна Ивановна и ее мать особые знаки уважения и внимания. Виллиму строго предписывалось ничего не предпринимать без его совета; ему посылались (впрочем, весьма недорогие) подарки прямо от имени Анны, у него спрашивалось обо всем; так, например, Анна просила брата спросить Лаусона, «отдавать ли ее деверю, Кейзерлингу, портрет царя, прежде чем деверь пришлет вещи покойника из Курляндии?» Мать даже просила сына: «Кроме себя и Лаусона никому не доверять, никого не слушать, со всеми, кроме его, быть осторожным». Ради интересов дочери старуха убедительнейше просила сына оказывать камердинеру (покойного Кейзерлинга) столько добра, сколько может – «помни, что от этого человека зависит сильно помочь или сильно повредить».

При всем том, ни вещи, ни деньги не получались. К одному горю – другое – Штраленберг (камердинер покойника) рассказывал за границей, что жена его, оставленная в Москве у г-жи Кейзерлинг, страдает от ее грубого обращения.

«Прошу тебя, любезный брат, – писала Кейзерлинг к Виллиму, – не верь этому лгуну Штраленбергу; он безпрестанно делает мне новыя неприятности, так что я умираю с досады... Передай ему, что его жена горько плакала, услышав о том, как безстыдно лжет ей муж, будто бы я дурно с ней обращаюсь. Напротив, призываю Бога свидетелем, ей очень хорошо у меня; когда она была больна, я пригласила доктора на свой счет и, избавляя ее от всяких расходов, подарила ей черное платье».

Еще ближе к сердцу принимала огорчения, наносимые Анне Ивановне, ее мать. Из писем старухи видно, что она любила Анну едва ли не более всех остальных детей. «С чего Штраленберг взял, – восклицала она по поводу его сплетень, – как он смеет уверять, будто бы жена его ужасно страдает у твоей сестры? Он безсовестный лжец! Пора б ему зажать рот; чтобы черт побрал этого мерзавца с его страстью лгать; сестра твоя от него уже и так много натерпелась... Моя дочь сделала для его жены по крайней мере столько же, сколько он для своего господина». Кроме этого неблагодарного, «много беспокоящего», как жаловалась в другом письме старуха, причинял ее дочери какой-то «безбожный Сал-

ТЫКОВ...»

С одной стороны, старший брат Кейзерлинга, с другой – его камердинер своими поступками сильно заставляли опасаться «печальную» вдову, что многое из имущества супруга ускользнет из ее рук. Вследствие этого она нашла нужным самой съездить если не за границу, то в Петербург, чтоб привести это дело к благополучному окончанию; сборам этим предшествовали собственноручные ее распоряжения о продаже разных вещей покойника.

Ни малейшей печали, любви и даже уважения к покойному не высказывается в письмах Анны Ивановны. Так, например, в одном из писем к брату, от 1 марта 1712 года, сделав распоряжение о продаже лошадей за назначенную ею же цену, затем распорядившись о взятии кое-каких вещей, оставленных ее мужем в Курляндии, она только после всего этого просит брата: «Напиши мне, пожалуйста: привезут ли тело моего мужа в Курляндию? Вели, чтоб гроб обили красным бархатом и золотым галуном», – и тут же спешит приписать о деле, для нее важнейшем: «Ради-бога, побереги шкатулку с бумагами, чтобы ничего не потерялось, а старшему зятю моему скажи, чтобы он прислал мне только портрет его величества с драгоценными камнями».

«Мы все больны, – плакалась между тем старуха, – твоя сестра Анна пять недель не вставала с постели и харкает кровью; что из этого будет, один Бог знает! Она хочет иметь здесь все свои деньги, постарайся об этом, равно и о том,

чтобы все ее вещи были привезены сюда... Ради Бога, не вези с собой негодяя камердинера; а то будет ему худо. Твоя сестра безутешна, помоги ей Бог!»

«Твоя сестра еще больна, – писала неделю спустя мать Монса, – ты, вероятно, слышал уже, что ландмаршал (брат Кейзерлинга) хочет взять себе вещи покойника; не допусти до этого, привези их с собою, не давай себя уговорить ни в чем, эти Кейзерлинги очень хитры, а камердинер (покойника) с ними заодно».

Несмотря на все наставления, дело не подвигалось. «Смотри, чтоб твоя бедная сестра не лишилась своей собственности, – беспрестанно напоминала старуха. – Зачем ты письмо послал в Ригу, оно три недели было в дороге... и сестра должна была заплатить шесть рублей за письма твои и камердинера!.. Зачем ты лошадей отправил в Эльбинг, смотри, чтобы они не пропали...»

Не мог угодить Виллим Иванович и сестре своей Анне; как кажется, страдая чахоткой, она была очень раздражительна, и болезнь вместе с корыстолюбием, одной из резких черт ее характера, вызывали с ее стороны ряд упреков. «От твоего письма, – писала она брату 8 мая 1712 года, – я в отчаяньи; ты потратил много времени попустому. Не знаю, что за причина, что мое дело в таком дурном положении. Не знаю, по чьему совету уехал ты в Берлин?..»

А тут на беду Виллим Иванович, человек молодой, щеголь и ветреник, не мог удержаться, чтоб не занять несколь-

ко сотен рейхсталеров из хранившихся у Лаусона сестриных денег. При известии об этом Анна Ивановна запылала негодованием. «Я была до крайности поражена, – писала она к нему, – при известии, что ты занял уже до 700 рейхсталеров!» Боже мой! Неужели это значит поступать по-братски? Этак ты меня совсем разоришь! Подумал ли ты, сколько слез я проливаю во вдовьем своем положении и сколько у меня расходов? Какой же ты после этого сберегатель моих интересов и моей собственности? Матушка очень огорчена твоим поведением. Напиши, на что тебе нужны были деньги? Оканчиваю письмо, слезы мешают мне писать. Призываю Бога на помощь, да исправит он тебя, быть может, ты станешь лучше обо мне заботиться...»

Что до матери, то она просто-напросто грозила сыну самым сильным проклятием, если он не перестанет тратить деньги своей «несчастной сестры».

«Прошу тебя, – писала, со своей стороны, старшая сестра Монс, – делай все в пользу Анны, не упускай время. Один Бог знает, как больно мне слышать упреки матушки, что мы не соблюдаем интересов нашей сестры...» «Если не лучше будут действовать, – говорит в другом письме Матрена Балк, – в деле любезной нашей сестры, то маршал Кейзерлинг достигнет своей цели и присвоит себе вещи. Видно, ты не очень-то заботишься о данном тебе поручении, за что и будешь отвечать пред нашей сестрой».

Общие хлопоты привели наконец к более успешному ре-

зультату; этому, без сомнения, способствовало и то, что сама г-жа Кейзерлинг с матерью приехали за границу летом 1712 года; они прогостили несколько недель в Эльбинге у своего зятя Балка и отсюда имели более удобств вести свой процесс; общими стараниями Монс генерал-адъютант, младший брат покойного Кейзерлинга, уговорен был протестовать против незаконных претензий ландмаршала, своего старшего брата, и этот протест много сделал по делу Анны Ивановны у короля прусского. Дело, впрочем, протянулось с год, так что Анна Ивановна, по возврате в Москву, скоро нашла нужным ехать в С.-Петербург.

«Но я не знаю, – жаловалась мать, – что мне делать с ней; я все больна и никак не могу с ней пуститься в дорогу».

О поездке, между тем, сильно хлопотала Анна Ивановна; расчетливая до скупости, и в то же время с претензиями на некоторые права в качестве прежней фаворитки государя, она писала к вице-адмиралу, а также и к графу Головкину, чтобы те выхлопотали ей даром подводы. «Люди датского посланника, – говорила она брату, – получали даровые подводы, отчего же мне не получить?» Подвод, однако, не давали; старуха-мать почти в каждом из своих писем к сыну напоминала, чтобы тот похлопотал, но Виллим Иванович не был еще в той силе, в какой мы увидим его впоследствии, а «птенцы» Петра не считали нужным оказывать внимание забытой красавице.

Что до нее самой, то давно вытеснив из сердца образ Пет-

ра и оставив его в своей шкатулке, так как он был осыпан драгоценными камнями, Анна Ивановна забыла и Кейзерлинга: в 1713–1714 годах она уже не вспоминает о нем даже по поводу его имени: она занята шведским капитаном фон Миллером.

Капитан, один из шведов, взятых в полон после преславной виктории под Лесным, проживал в Немецкой слободе, познакомился с Анной Ивановной и имел счастье быть последним в ряду избранников ее сердца. «Печальная» вдова намеревалась выйти за него замуж, а пока осыпала его подарками; видно, красота ее сильно поблекла, если она находила нужным прибегать к этому средству, чтоб привязать к себе своего нового рыцаря.

Так, «в приносе от иноземки Анны Монцовой пожитков ее к капитану» были: «камзол штофовой, золотом и серебром шитый; кувшинец, да блюдо, что бороды бреют, серебряныя» и другие вещи.

Впоследствии, после смерти уже сестры, хлопоча отнять их у Миллера, Виллим Иванович уверял, «что тот притворством верился (вкрался?) в дом к сестре моей и в болезни сестры моей взял, стакався с девкою шведкою, которая ходила в ключи у сестры моей, взял многая пожитки». Монс жаловался, что Миллер, пользуясь болезнию его матери и излишнею доверенностью к нему Анны Ивановны, уверил ее, будто бы имеет в Швеции жалованные от короля маетности; выманивал у нее деньги и разные подарки.

Обманом или другим чем, как бы то ни было, но Миллер действительно очень сблизился с Анной Ивановной: они были сговорены и свадьбе помешала только смерть невесты.

Вдова Анна Кейзерлинг скончалась 15 августа 1714 года, в Немецкой слободе, на руках больной старухи-матери и пастора; в беспомощности предсмертной агонии она пожалела только о некоторой сироте и о возлюбленном; ему завещала она наиболее ценную часть своего имущества.

Об этом наследстве между старухой Модестой Монс и ее сыном, Виллимом Ивановичем, с одной стороны, и капитаном фон Миллером – с другой, возникло интересное дело.

Так как оно не касается прямо предмета настоящего исследования, а между тем подробности его в высшей степени характерны, то мы его рассказываем, на основании подлинных и доселе не изданных документов, во 2-м приложении к настоящей книге.⁶

Между тем оставленного Анной Ивановной имущества было довольно.

Одних алмазов, брильянтов, золотых и серебряных вещей осталось в черепаховой шкатулке Анны Ивановны на сумму по своему времени громадную, а именно на 5740 рублей; в списке этих вещей были подарки адмирала Лефорта, царя Петра, иноземных послов Кенигсека, фон Кейзерлинга; не было только подарков шведского пленника капитана фон Миллера, потому что «пленник шведской» сам при-

⁶ Приложения в настоящее издание не включены.

нимал их от Анны.

Из всех драгоценностей ценнее всех был подарок государя; он значится в списке так: «Образ з разными с драгими ка-меньями, около охвачен – в 1000 рублей». Затем по ценности замечательны: «Умершаго господина фон Кейзерлинга персона в алмазах – 700 руб.». Остальные вещи были алмазные: лацкен, сердечко с короной, серьги, крест, перстни, пряжки, запон-ки, булавки, шпажка и зубочистка алмазные; тут же были нитки жемчуга, из которых четыре нитки покойница завещала сироте некоторой; золотые и серебряные часы, табакерки, кольца, все это украшено брильянтами, изумрудный перстень и т. п.; вещи эти были достоянием той женщины, которая так горько плака-лась за растрату братом нескольких сотен рейхсталеров...

Как бы то ни было, но, проводив в могилу бранные останки той женщины, имя которой, благодаря любви к ней великого преобразователя России, попало в историю, скажем о ней окончательное мнение – оно вытекает из представленных материалов. Их достаточно, чтоб видеть в Анне Монс страшную эгоистку, немку сластолюбивую, чуть не развратную, с сердцем холодным, немку расчетливую до скупости, алчную до корысти, при всем этом суеверную, лишенную всякого образования, даже малограмотную (о чем свидетельствуют ее подлинные письма). Кроме пленительной красоты, в этой авантюристке не было никаких других достоинств. Поднятая из грязи разврата, она не сумела оценить любовь

Петра, не сумела оценить поступка, который тот сделал ради ее, предав жестокой участи свою законную супругу. Страстью к Анне Монс царь Петр показал, что и великие люди не изъяты человеческих слабостей, что страсть и им слепит очи, и им затемняет рассудок.

Безвестная немка, женщина во всех отношениях недостойная, Анна Монс послужила причиной к совершению нескольких событий, в высшей степени важных в истории великого Петра: царица Авдотья Федоровна ссылается в заточение; наследник престола царевич Алексей Петрович преждевременно лишается материнского надзору, а вследствие этого затаивает в душе своей ненависть к отцу, гонителю матери; эта ненависть растет, заставляет Алексея окружать себя сторонниками, столько же неприязненными его отцу; начинается борьба малозаметная, в высшей степени страдательная со стороны царевича, не важная по ходу, но которая, быть может, приняла бы более серьезные размеры, если бы не кончилась катастрофою 1718 года.

С другой стороны, любовь к Анне Монс заставляет Петра обратить внимание на ее семейство, а в нем, между прочим, и на брата Анны – Виллима. Государь приближает его к себе, возвышает на высокую степень придворных званий и в нем находит человека, который разбивает его семейное счастье, отравляет последние дни его жизни и – это еще догадка – делается одною из причин преждевременной кончины Петра Великого.

II. Генераль-адъютант В. Монс (1708–1716 годы)

В то время, когда Петр зачастую посещал и изволил нередко «опочивати за золочеными занавесами» в каменном палаццо Анны Ивановны, в покоях жалованного дома резвился четырнадцатилетний хорошенький мальчик; это был ребенок живой, пылкий и весьма чувствительный; последнее доказывало, что на мальчика имело большое влияние то, что он с раннего детства окружен был женщинами: обе сестры (много его старше) любили и баловали ребенка. Баловень этот был известный впоследствии Виллим Иванович Монс, или, как он подписывался, де-Монс.

Старший брат его Филимон, как мы уже знаем, взят был государем на службу, и, несмотря на опалу, постигшую сестер Монс, Филимон служил довольно успешно: в 1711 году он был капитаном. По его следам, но по предложению Георга Иоганна фон Кейзерлинга, принят был на службу Виллим Монс: военная служба вообще представлялась иноземцам Немецкой слободы в тогдашнее время надежнейшим путем к достижению всяких благ, следовательно, желания другого пути со стороны Виллима и быть ее могло. Виллим принят на службу в бытность царя Петра в Польше, в местечке

Горках,⁷ в августе 1708 года.

Первоначально принят оя в армии в качестве «валентира». Молодой человек был зачислен затем в лейб-гвардии Преображенский полк. Генерал Боур заметил молодого, красивого «валентира» и взял его к себе в «генеральс-адъютанты».

Странная роль выпала на долю немца генерала Боура: он отличался, надо думать, большим вкусом и был поклонник красоты во всех ее проявлениях. В самом деле, Боур вывел Марту, будущую царицу Катерину Алексеевну, Боур же выдвигает на путь к отличиям и знаменитого впоследствии ее приближенного Виллима Монса...

Пред будущим фаворитом с этого времени действительно открывалась карьера несравненно блистательнейшая, нежели выпадала на долю какого-нибудь боевого офицера.

Монс был постоянно на виду, на него возлагались кое-какие командировки, и малейший успех в их выполнении, расторопность, бойкость немедленно награждались. Монс был на виду в упорном бою под Лесным, в славной победе Полтавской; здесь и там исправлял должность генеральс-адъютанта и, когда шведы были отброшены к Переволочне, Монс ездил к ним с трубачом для переговоров. Во время движения русской армии к Риге Виллим Иванович команди-

⁷ Горки принадлежали стольнику литовскому, графу Сапеге, и были куплены у него князем Меншиковым. (Прим. автора.)

руем был во многие партии с казаками; между прочим, на него возложено было поручение отбить у неприятеля командира казаков князя Лобанова.

«Усмотря добрые поступки» родного брата некогда любимой красавицы, государь, в бытность свою в Померании осенью 1711 года, «удостоил его чином лейб-гвардии лейтенанта»; в новом чине Монс назначен был оставаться в качестве «генеральс-адъютанта от кавалерии» при государе, ездил курьером к королю датскому, участвовал при атаке фридрихштадской и вообще, как мы уже видели, был в постоянных разъездах с разными поручениями от государя.

Между тем карман Монса находился в незавидном состоянии; адъютант перебивался небольшими деньжонками, что можно видеть из записок его к друзьям, в одной из них, например, он, между прочим, просит возвратить ему девять рейхсталеров, в которых «очень нуждается». От матери и сестер, женщин скупых, вечно жаловавшихся на бедность, поддержка была небольшая; что до братьев, то он их потерял довольно рано.

«Находясь теперь здесь в Москве, – писал Монс к сестре и зятю своему Балку 14 марта 1711 года, – с прискорбием извещаю вас, что любезный старший брат наш скончался; смерть его тем для меня чувствительнее, что я почти одновременно лишился обоих братьев». На одном из них осталось 15 рублей долга, и средства Виллима Ивановича были так плохи, что он должен был уступить за эти деньги лошадь

покойника.

Таким образом, Монс начинал почти так, как начинала большая часть его единоплеменников: бездомные, жалкие бедняки, они ждали какого-нибудь случая, «фавора», чтобы обогатиться, и ловкостью, вкрадчивостью умели иногда добиться этого случая.

При Петре, в особенности непосредственно при нем, служить было нелегко: государь требовал самой строгой исполнительности во всем; без его позволения никто из ближних служащих не смел отлучаться от него ни днем, ни ночью. Днем, действительно, и невозможно было урваться ни одному денщику, но по ночам они, как рассказывает один из денщиков, таскались часто по шинкам и своим приятельницам. Его величество, – повествует Нартов, – сведав о таком распутстве, велел для каждого денщика (т. е. для своих флигель-адъютантов) сделать шкаф с постелью, чтоб в ночное время их там запирали и тем укротили их буйство и гулянье. Однажды в самую полночь государю понадобилось послать одного из флигель-адъютантов, бережно запертых по шкафам. Государь идет с фонарем наверх, отпирает ключом шкаф за шкапом и не находит в них ни одного флигель-адъютанта. «Мои денщики летают сквозь замки, но я крылья обстригу им завтра дубиной!»

Стрижки однако не было; государь встал в хорошем расположении духа, увидел флигель-адъютантов на местах, стоящих в трепетном ожидании «нешадного побиения», и это

смягчило Петра.

«Смотрите ж, – сказал он между прочим, – впредь со двора уходить без приказа моего никто да не дерзнет, иначе преступника отворочаю так дубиной, что забудет по ночам гулять и забывать свою должность!..»

С Монсом же, как кажется, «отворачиваний дубиной» не случилось.

Он старательно выполнял свою должность, а она охватывала самые разнородные поручения. Так, между прочим, доводилось ему везти царскими лошадьми, провожать подводы с закупленным за границей для Петра венгерским вином; Монс должен был прикупать новое, всячески беречь драгоценный напиток и проч. Такого рода поручения показывали некоторую доверенность к Монсу, который между тем сколачивал себе fortuna разными средствами; так, в 1712 году, в бытность свою в Митаве, генеральс-адыютант приобрел благосклонное внимание вдовствующей герцогини Курляндской Анны Ивановны, обзавелся деньгами и совершенно довольный шуточно писал к одному из приятелей в Немецкую слободу: «Рекомендую себя девице Труткем и ожидаю тебя с нею сюда; я уже приготовил карету и шестерик лошадей; ей будет здесь на чем кататься...»

И при дворе государя он уже получал некоторое значение. Так, в 1713 году заботливая сестрица Матрена писала к нему: «Прошу вас пожалуйста сделайте, чтоб сын мой Петр (Балк) у царя доброю оказиею был; понеже лучше, чтоб он

у вас был; я надеюсь, что он вскоре у вас будет, понеже муж мой пошлет его с делами в С.-Петербург».

Матрена Ивановна просила не об одном сыне; волею Петра заброшенная со стариком-мужем в крепость Эльбинг, на самый театр войны, она беспокоилась среди опасностей войны и сильно тосковала вдали от столичного общества, к которому всегда чувствовала влечение. Только осенью 1711 года Матрена Ивановна на несколько времени оживилась: в это время в Эльбинг приехала царица Катерина Алексеевна. «Отпустил я жену свою в Эльбинг, к вам, – писал государь Федору Балку, – и что ей понадобится денег на покупку какой мелочи, дайте из собранных у вас денег».

В бытность здесь государыни Матрена Ивановна успела заискать ее расположение и даже дружбу до такой степени, что сам царь Петр находил нужным, быть может, в угоду жене, оказывать эльбингской комендантше особое внимание. «Отпиши ко мне, – спрашивал Петр Катерину 14 августа 1712 года, – к которому времени родит Матрена, чтоб мне поспеть?»

Два месяца спустя Петр распорядился об очищении Эльбинга прежде, нежели явится под ним посланный от султана турчанина, и, между прочим, сам озаботился предписать отправить комендантшу с обозами вперед из крепости. Турчанин, однако, не пришел, к великому прискорбию Балкши; государыня уехала, а Матрена Ивановна, видев уже знаки внимания к себе как от государыни, так и от государя, еще более

стала желать отъезда ко двору. Ряд писем ее за 1713 год к брату наполнен мольбами, чтоб тот постарался чрез Павла Ивановича Ягужинского, кабинет-секретаря Макарова или другим каким путем, но только выхлопотать им приказ о переводе ее с мужем в Россию или, по крайней мере, хоть в Або: «Здесь года не получает жалованье, мы проживаемся; к тому же, – продолжает Матрена, подбирая предлог к отъезду посильнее, – мой бедный муж так болен, что я опасюсь за его жизнь».

Усиленные просьбы к Виллиму Ивановичу показывают, что генеральс-адъютант имел уже в это время значительные связи с лицами влиятельными при дворе Петра; таким образом, он далеко не был тем ветреником, беззаботным молодым человеком, каким является в письмах к нему от матери за эти годы. Ворчливая и хворая старуха, находя, что сын ветрен, нерасчетлив и даже расточителен, осыпала его рядом упреков, даже угроз, и зорко следила за образом жизни сына и окружающих его слуг и приятелей. К чести Монса надо сказать, он с покорностью переносил материнские выговоры и не видать, чтобы тяготился ее вмешательством в свои дела.

Так, в 1712 году старуха с гневом выговаривала сыну: «... любезный сын, из письма Лаусона видно, что ты опять тронул сестрины деньги... Если ты будешь так поступать, то скоро растратишь капитал твоей бедной сестры; она поручила тебе беречь ее собственность, а ты поступаешь как человек безрассудный; чем же это кончится? В четыре месяца взял

ты 700 рейхсталеров и даже ни разу не написал нам об этом. Мне кажется, что Бух (камердинер Монса), проклятая собака, чтобы черт его взял, берет деньги, когда они ему только нужны; мы слышали, как он весело живет. Узнав обо всем этом, я и твоя бедная сестра чуть не умерли от огорчения. Да простит тебе Бог такую безбожную жизнь; если б Бух был здесь, я б засадила в такое место, откуда б не взвидел он ни луны, ни солнца! Поэтому еще раз пишу к тебе: прогони от себя этого мерзавца, или я наложу на тебя такое проклятие, что тебе не будет покоя на этом свете! Как можешь ты тратить больше того, что в состоянии заплатить? Откуда ты возьмешь? Ведь тебе известно, у меня ничего нет, чем могла бы я тебе помочь... Ты уже истратил до 1000 рейхсталеров из денег твоей сестры. Неужели предался ты картежной игре и проиграл эти деньги? Если это правда, то я тебя проклянущу. Твоя сестра сильно заболела от огорчения, которое ты ей причиняешь. Прошу Бога, чтоб тебя Он навел на путь истины...»

Громы проклятия нежной матери готовы были разразиться над мнимо-ветренным сыном, но он догадался сказать больным, не отвечал на родительские упреки, а поручил это щекотливое дело камердинеру.

«Про этого мошенника, – отвечала мать, продолжая входить во все мелочи домашнего быта своего сына и его служителей, – про этого мошенника Буха я опять слышала, как он живет: все сидит в винном погребу и играет в карты; когда

его спросили, откуда у него столько денег? – он отвечал, что должен же ему господин давать деньги. Что ты об этом думаешь? Неужели тут не сокрушаться сердцу?... Итак, прошу тебя, мое дитя, устрой так, чтобы он приехал в Эльбинг (здесь гостила в это время старуха у старшей своей дочери), если ты не хочешь, чтоб твоя мать из-за этого мошенника пропадала...»

Жалобы и просьбы не прерывались: «Денег нет; ни за квартиру, ни из деревни я ничего не получила. Постарайся, чтоб сестра приехала сюда, покуда я еще жива; но я с каждым днем слабею и вот уже пятнадцать лет (т. е. с 1697 года) лежу в постели; можешь себе представить, каково мне! Хотелось бы видеть своих детей еще раз вместе! Препоручаю тебя Всевышнему, да предохранит Он тебя от всякой опасности. Маша и Катька тебе кланяются...»

С успехами по службе, с возрастанием значения Виллима Ивановича смягчалась к нему и старуха-мать. «Меня очень утешило твое письмо, – отвечала она сыну 1 мая 1713 года, – в котором ты пишешь, что его величество очень к тебе милостив; дай Бог, чтоб это всегда так было; будь осторожен, – добавляет старуха, много испытывавшая на своем веку, – будь осторожен: при дворе опасно служить; служи усердно царю и Богу, тогда будет хорошо. Напрасно думаешь, дитя мое, что я на тебя была сердита; сам ты знаешь, что этого быть не может... У меня был генерал-адъютант, я просила его, чтобы он тебя не оставил...»

Генерал-адъютант, любезно посещающий в Немецкой слободе в 1713 году полузабытое семейство, – не кто другой, как Павел Иванович Ягужинский.

Мы уже имели случай познакомиться с этим «птенцом» Петра Великого. Павел Иванович был очень любим государем, считался его «правым глазом», славился прямодушием и необыкновенною скоростью и точностью в исполнении всех служебных обязанностей; «правый глаз» был очень зорок, прекрасно пригляделся ко всем светилам горизонта дворцовой жизни, умел отличать эти светила очень рано, когда они только начинали мерцать, умел предугадывать их будущий рост и значение и вовремя обязывал нового «фаворита» своею приязнию и услугами. Этому свойству своего ума Павел Иванович обязан тем, что не только спокойно пережил три царствования, но не упал и в четвертое, т. е. в царствование Анны Ивановны. Ягужинский умер на верху почестей и отличий, что едва ли могло случиться, если бы он, по уверению иностранцев, действовал всегда «прямодушно, благородно, с замечательною откровенностью и свободою...»

Виллима Ивановича Монса Павел Иванович заметил рано; в 1713 году они были короткие приятели, ими и остались, подде— рживая друг друга в треволнениях дворцовой жизни, до роково— го для одного из них 1724 года... Но обратимся к старухе Монс.

Она делалась все более и более довольна сыном; посылала к нему платье, белье и кой-какие безделицы, изъявля-

ла глубокое свое желание видеть сына в «генеральской форме» (т. е. в мундире тогдашнего генеральс-адъютанта, что соответствовало чину полковника) и в надежде осуществления этого приятного ожидания снабжала сына всяким добром: так, однажды было послано к нему «четырнадцать штук мясной колбасы». Все эти подарки со стороны скупой старухи свидетельствуют, что сын рос и рос из толпы придворных соискателей чинов и отличий...

Впрочем, она могла быть довольна и семейными делами, устроившимися в это время (1713–1714 годы) к лучшему: так, много занимавший ее процесс с ландмаршалом Кейзерлингом кончился в пользу ее «бедной дочери». Но вот 15 августа 1714 года умирает Анна Ивановна, и все семейство, начиная с матери и кончая Виллимом Ивановичем, спешит развеять свою печаль об утрате «бедной» Анны Ивановны тяжбой с последним избранником ее сердца. Как старухе Монс, так в особенности ее достойному сыну и наследнику сестриного достатка особенно было досадно, что некоторые из дорогих вещей Анны попали в руки шведа Миллера.

Достаточно окрепши при дворе, окруженный благоприятелями, Виллим Иванович смело мог рассчитывать на успех тяжбы, а она вся была начата чуть не из-за одного серебряного кувшинца да золотного кафтана... Все эти мелочи достаточно обрисовывают нашего героя... Оплакать сестру и отнять от ее жениха кувшинец и тому подобные вещи – с этой целью Монс приехал в Москву осенью 1714 года.

Миллер был взят, по челобитью Виллима Монса, в Преображенский приказ – на допрос к князю-кесарю; но и суровый князь-кесарь Ромодановский, как значится из многих дел Тайной канцелярии, умел угодить людям «в случае». По этому ли свойству своего характера или по чему другому, только он заставил Миллера повиниться, что-де он не токмо взял у покойной «блюдо серебряное, что бороды бреют, да рукомойник», но и другие-де брал «вещи не малыя, а Анна Кейзерлинг, – говорил швед, – вещьми теми меня дарила, и те вещи я закладывал и продаывал, а кому – не помню».

Для напаятования нужна шведка-полонянка, что ходила у покойной «в ключе» и была ее наперсницей в разных секретных делах; но та шведка-девка взята в услужение знакомым уже нам любителем всего изящного – Боуром.

Боур не отпускает девку.

Монс не задумывается и бьет челом прямо государыне на своего первого благодетеля... Новая черта для обрисовки генеральс-адъютанта.

«Генерал Боур, – жалуется его прежний флигель-адъютант, – не только той девки не отдает, но бьет присыльного подьячего, который о присылке той девки говорить к нему послан. И об нем шведе (т. е. о Миллере) великое прилежание отовсюду, как от него Боура, и от коменданта, и от многих есть. Еще же, – продолжает Монс, – от господина Боура ко мне присылки бывають, чтоб я отдал неведомо какие той девки пожитки, будто ей обещала сестра моя; и с великим

мне прешчением присылает, в чем имею себе не малое опасение... Прошу вашего премилостивой государыни заступления, дабы я вотшче не пребыл в своем упадке...» Ради этого скромный генеральс-адью-тант умолял принять его «в матернию ограду» и передать дело на розыск к Ф. Ю. Ромодановскому. А чтоб вещи никоим образом ни по тому розыску, ни по решению тяжбы в Сенате не могли бы остаться за Миллером, Монс заявил, что-де представленное его противником завещание Анны Ивановны фон Кейзерлинг вовсе несправедливо: оно-де не скреплено духовником, да и писано-то, так уверял Виллим, в «беспамятстве и, следовательно, противно указам и градским правам».

Как бы то ни было, но Екатерина еще не заметила Монса, а потому не из чего ей было принимать его, выражаясь словами челобитья, в свою «матернию ограду».

Генеральс-адьютант должен был искать и действительно нашел помощь у друзей. «Государь мой Виллим Иванович! – писал к нему Ягужинский. – За многия ваши писания благодарствую и прошу на меня не возмните противности какой, что так долго не ответствовал. Об деле вашем здесь царское величество указал князю Федору Юрьевичу разыскивать, и уж обо всем при дворе известны, как Боур поступает с вами. И я ему ныне довольно писал; чаю, от моего письма он выразумет и отстанет того дела. И ты не ездит так скоро с Москвы и исправляй свое дело, я уже дам знать, когда время будет ехать. Слуга ваш П. Ягужинский. 9 генваря 1715 года».

При таком обязательном друге нет ничего мудреного, что Монсу удалось надолго засадить Миллера в тюрьму; вещи его были опечатаны, с него и со слуг сняты допросы, и затем дело все-таки затянулось.

«...Ты понимаешь, любезный сын, – писала старуха Монс к сыну 19 октября 1715 года, – каково той, у которой такая тяжба на шее. Господин (т. е. государь) хотя и приказал сказать Миллеру, что он до тех пор не будет выпущен, пока не заплатит все, но прошло уже двадцать три дня и все опять тихо. У меня никого нет, кто мог бы вести дело, а когда господин сердит, тогда никто не смеет ему сказать слово. Похлопочи ты, пожалуйста, чтобы пришел указ Миллеру – или выдать ожерелье и большой перстень, или заплатить деньги...» А между тем в ожидании указа старуха дала взятку одному из дельцов и дала от имени своего сына.

В январе 1716 года сын отправился с государем и государыней за границу; как ни грустна была старухе-матери разлука с сыном, но она ясно видела, что чем ближе будет Виллим к высоким персонам, тем скорее увеличится к нему «оказия». Старуха печалилась только о том, что по хворости своей ей едва ли доведется еще раз увидеть сына; притом смущало ее и то, что с отъездом сына некому будет поприжать Миллера. Полоненник шведский имел, как оказывается, довольно сильных покровителей в лице князя Я. Ф. Долгорукова и других. Пробежим, однако, последние письма старухи Монс: ими мы закончим наше знакомство с семейными

делами генеральс-адъютанта.

«...Я более и более ослабеваю, – писала старуха при известии об отъезде сына, – так что думаю, что это последнее мое письмо и мне остается только пожелать тебе всякого благополучия на этом свете... Попроси старого князя (Меншикова), чтоб он нас не оставил (в деле с Миллером, который успел жениться, был на службе, хлопотал об откомандировке из Москвы, и денег за подарки Анны Кейзерлинг не вносил). Если бы государыня повелела, – продолжает старуха, – чтобы Миллер заплатил, то дело было бы сделано, а теперь оно, кажется, остановилось – Миллер делает, что хочет. Мне надобно еще получить от г. Лаусона 20 070 талеров; если ты его увидишь, то скажи ему, что покойная сестра твоя хотела их пожертвовать на церковь...»

Эти 20 070 талеров – не более как грубая описка, что, впрочем, и видно из другого письма, в противном случае были бы совершенно непонятными как беспрестанные жалобы старухи Монс на бедность, так и настойчивые вымогательства всего семейства ожерелья, перстня, кувшинца и других безделиц от полоненника Миллера; о них напоминает матью беспрестанно, и к напоминаньям скоро присоединяются мольбы, чтоб Виллим «для своей же пользы... позаботился бы о деревне», т. е. побил бы челом государю о получении нескольких крестьянских дворов с душами.

«Бог знает, – замечает Модеста Монс, – долго ли мне оста-

ется еще жить, но я хотела бы по крайней мере при жизни иметь деревню (надо бы сказать: „еще деревню“) и знать, что после моей смерти у тебя будет своя собственность».

Об этой «собственности» старуха писала к Макарову, умоляя его порадеть о деревеньке ей, матери бывшей фаворитки... Между тем, несмотря на недуги, Модеста неустанно наставляла сына на его скользкой дороге дворцовой жизни. «Придерживайся Макарова, – писала она, – он все знает...» «Друзья наши говорят, – возбуждает старуха Монс сына, – что был бы великий срам, если бы сын, дочь и зять (т. е. Виллим, Матрена и Федор Балк), так высоко стоящие у его величества, не покончили бы дело с успехом... Любезный сын! Не введи нас в позор и не давай нашим врагам восторжествовать над нами... Прощай, мое дитя, я почти ослепла... от слез!»

Наконец с Миллера истребованы деньги за вещи, полученные им от покойной Кейзерлинг, но и тут плачется Монс: «Полученная сумма меньше стоимости вещей... а главное все-таки, любезный сын, постарайся насчет деревни, дабы ты что-нибудь имел в нужде; попроси секретаря (т. е. Макарова): он тебе поможет в этом деле...» Старуха еще думала о корысти, о захолоплении за семьей еще нескольких сот крестьянских душ, а между тем смерть уже подступала к ней.

«Любезное дитя, – писала Модеста к сыну в конце 1716 года, – я была очень слаба, так что лишилась уже языка и никто не думал, чтоб мне довелось прожить еще день... Те-

перь я опять немного оправилась и надеюсь, что Бог умило-сердится над бедной сироткой; она так горько плакала и так умоляла Бога, чтоб он не сделал ее вновь сиротой, что все удивлялись, она не отходила от моей постели; мальчик (не сын ли Кейзерлинга?) тоже беспрестанно меня дергал за руки и так жалостно плакал, что ужасно было его слушать... Ради Бога, любезный сын, не оставь бедной девочки, позаботься, чтоб она попала в Данциг (к Балкше) или оставь ее у себя; твоя сестра (Матрена) не будет столь жестока, чтоб не принять ребенка... Когда я спрашиваю у дитяти, у кого она хочет быть, если я умру, она горько плачет и кричит: „Не дай Бог, чтобы бабушка умерла, а если умрет, то не хочу быть ни у кого больше, кроме Виллима Ивановича“. Она порядочно читает и очень богомольна, как большой человек...». «Дай Бог, – переходит умирающая к предмету, еще более ее интересующему, – дай Бог, чтобы ты получил деревню и что-нибудь таким образом имел; времена ведь переменчивы! Каменный дом, в котором жила твоя сестра, хотят продать; постарайся, чтобы ты его получил...»

«Ты хочешь взять отпуск, – пишет мать Виллиму в январе 1717 года, – и приехать сюда? Это известие меня очень обрадовало, но будь осторожен, чтобы не навлечь на себя немилости их величеств; врагов у нас довольно. Если бы Бог порадовал императрицу (т. е. царицу, 1717 год) рождением принца и тебя бы прислали сюда с радостным о том известием, вот было бы хорошо!..» И за этим «хорошо» – повторение

сетований и напоминований сыну, чтоб тот постарался вымолить деревеньку: «Секретарь (т. е. Макаров), – пишет старуха, – обещал все для меня сделать, лишь бы ты ему сказал об этом, он тебе поможет; ты слишком застенчив (!)...»

С этими сетованиями на печали, мнимую нужду, на необычную застенчивость сына старуха сошла в могилу.

Маргарита Монс умерла 4 октября 1717 года в Немецкой слободе, на 65 году от рождения...

Из груды ее писем мы извлекли только те места, которые сколько-нибудь могут характеризовать семейные отношения и домашний быт Виллима Ивановича; при скудости материалов о первом периоде его жизни и непосредственно до его личности относящихся, по необходимости надо пользоваться такими документами, каковы письма его матери. Разумеется, в этих письмах рисуется несравненно более сама старуха, нежели ее «любезное дитя», но и это не лишнее в нашем рассказе; дело в том, что мать своими наставлениями, напаметованиями, своим примером имела сильное влияние на Виллима, и будущий фаворит многое усвоил себе из материнского характера: ее вечное недовольство своим достатком, ненасытную алчность новых и новых благ, ее попрошайничество, заискивание у разных сильных лиц, умение найти благотворительных себе особ – все эти черты своего характера старуха как бы завещала Виллиму Ивановичу.

Но не все ли, однако, равно, каким характером одарен был один из генеральс-адыютантов Петра Великого? Мало ли их

было, и стоит ли для них отводить так много места в очерках петровского времени?

Не стоило бы говорить так много о ком-нибудь другом, только не о Виллиме Монсе.

Эта личность, как мы увидим далее, в последние годы царствования Великого обращает на себя внимание всей знати (кроме самого государя); вся аристократия обращается к нему как к счастливой звезде, как к своему велемочному патрону во всех их семейных и общественных нуждах; вокруг Монса группируется громадная партия, которая из эгоистических целей оберегает его как зеницу ока... Эта партия почти вся состоит из главнейших «птенцов» Петра, и, не зная их отношений к нему, мы бы многое потеряли для знакомства с «птенчиками» Преобразователя; к тому же многие важнейшие дела решаются при посредстве Монса – он для всех нужен, он силен не личными достоинствами, он силен любовью к нему Катерины Алексеевны; Монс имеет на нее громадное влияние, а та, послушная своему фавориту, действует на Петра... Итак, для знакомства с «птенцами» Великого, для обрисовки его замечательной супруги, для оживления пред нами самого Петра в последние годы его царствования – вот для чего мы группируем те мелкие черты, которые знакомят нас с такою, по-видимому, ничтожною личностью, какою действительно окажется – в нравственном отношении – фаворит Екатерины...

Но прежде нежели перейдем к эпохе фавора Виллима

Монса, остановимся пред красавицей Мартой, с 1706 года Катериной Алексеевной, и очертим отношение к ней Петра до 1716 года.

Мы приостановимся на 1716 году потому, что именно с этого года, говоря словами официального документа, «по нашему указу, Виллим Монс употреблен был в дворовой нашей службе при любезнейшей нашей супруге, ея величестве императрице всероссийской; и служил он от того времени (1716 года) при дворе нашем, и был в морских и сухопутных походах при нашей любезнейшей супруге ея величестве императрице всероссийской неотлучно; и во всех ему поверенных делах с такою верностью, радением и прилежанием поступал, что мы тем всемилостивейше довольны были».⁸

⁸ Патент Виллиму Монсу, данный от государя Петра Алексеевича в 1724 году. (Прим. автора.)

III. Марта Сковаронская, или Катерина (Василевская) Алексеевна (1705–1716 годы)

В 1705 году двадцатитрехлетняя красавица «Катерина Василевская», Марта Сковаронская тож, перевезена к Петру Великому во дворец.

Марта приняла православие, ее нарекли Катериной. 28 декабря 1706 года новая связь государя закреплена рождением дочери.⁹

С этого времени положение пленницы упрочивается: Петр привязывается к ней, и ее значение быстро увеличивается. Беспрестанные отлучки вызывали государя на переписку с Катериной или, лучше сказать, с ее приставницами; по этим коротеньким цидулкам Петра лучше всего можно проследить возрастание его привязанности к красавице. Просмотрим обращения цидулок – они довольно характеричны.

В первые годы своей связи Петр попросту называет Екатерину «маткой»; с 1709 года письма его прямо обращаются к ней одной, а не общие с письмами к Анисье Кирилловне

⁹ Екатерины; она умерла 27 июня 1708 г. (Прим. автора.)

Толстой, приставнице при Катерине. «Матка, здравствуй!» или «Мудер!». Эти обращения сменяются на более ласкательные выражения в конце 1711 года, то есть после того, как в марте сего года Катерина объявлена им женой. Отныне в начале царских цидулок мы читаем: «Катеринушка, дру мой, здравствуй!». На пакете к ней прежняя надпись: «Катерине Алексеевне» заменена: «сударыне царице Екатерине Алексеевне».

Пять лет спустя обращения на пакетах делаются еще торжественнее – письма адресуются: «ея величеству пресветлейшей государыне царице Екатерине Алексеевне», а самые письма по одним уж оголовкам делаются еще нежнее; с 1716 года Петр так приветствует бывшую фаворитку: «Катеринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй!».

Итак, отношения Петра к Екатерине в 1716 году окончательно закрепившиеся нежною любовью, начались в 1705 году.

Народ и солдатство, зорко приглядывавшиеся ко всем «деяниям» монарха, тотчас заявили недовольство на связь государя с безвестной дочерью лифляндского крестьянина. Недовольство выразилось, разумеется, не в чем ином, как в «неудобь-сказаемых» толках, быстро облетавших народные массы. «Не подобает монаху, так и ей, Катерине, на царстве быть: она не природная и не русская; и ведаем мы, – говорил один из старых служивых, – как она в полон взята (24 авг. 1702 г.) и приведена под знамя в одной рубахе, и отдана была

под караул, и караульной наш офицер надел на нее кафтан... Она с князем Меншиковым его величество кореньем обвели... и только на ту пору нет солдат, что он всех разослал, а то над ними (т. е. над Меншиковым и Катериной) что-нибудь да было б!»

«Катеринушка», действительно, словно кореньем обвела Петра: в разгар борьбы своей с Карлом, полагая жизнь свою в опасности, государь не забыл ее и назначил выдать ей с дочерью 3000 рублей – сумма значительная относительно своего времени и известной уже нам бережливости Петра.

При этом свойстве характера особенно интересно встречать в его письмах к Катерине извещения о посылаемых ей подарках и гостинцах. Нельзя сказать, чтобы «презенты» препровождались часто или чтоб они были ценны, но они являли внимание и любовь государя к своей красавице. Так, посылал он «матке» «материю – по желтой земле, да кольцо, а маленькой (дочери) полосатую», с пожеланьем «носить на здоровье»; либо покупал для нее «часы новой моды, (в которых были) для пыли внутри стекла (т. е. в предохранение от пыли), да печатку, да четверкой лапушке втраиом» (?), с извинением, что «больше за скоростью достать не мог, ибо в Дрездене только один день был»; в другой раз часы и печатки заменялись «устерсами», которые отправлялись в том числе, «сколько мог сыскать».

Но вот «Катеринушка» взгрустнулась, о том писал от ее имени секретарь, и Петр спешил из дальней Полтавы пре-

проводить к ней бутылку венгерского с убедительнейшею просьбою: «Для Бога, не печалиться, мне тем наведешь мне-нье. Дай Бог на здоровье вам пить; а мы про ваше здоровье пили», – успокоительно писал государь.

Любовь выражалась не в одних посланках устеров да бутылочек с венгерским: она высказывалась в постоянных заботах государя о любимой женщине; забывая первенца-сына и его воспитание, решительно изгладив из своей памяти образ злополучной первой супруги, а за ней и первой метрессы, Петр как зеницу ока хранил вторую и более счастливую фаворитку. Посмотрите, с какой убедительностью пишет он из «Грипсвалда» «Катеринушке»: «Поезжай (с) теми тремя батальонами, которым велено идти в Анклам; только для Бога бережно поезжай и от батальонов ни на сто сажень не отъезжай, ибо неприятельских судов зело много в Гафе и непрестанно выходят в леса великим числом, а вам тех лесов миновать нельзя».

Целые письма посвящались распоряжениям касательно путешествия «сердешинькаго друга», посылались к ней маршрут, выставлялись лошади, рассуждалось о погоде и о том, насколько может она повредить переезду «Катеринушки». «Дай Боже, – замечал нежно супруг, – чтоб здрава проехали, в чем опасенье имею о вашей непразности» (т. е. беременности).

Суровый деспот, человек с железным характером, спокойно смотревший на истязание на дыбе и затем смерть родного

сына, Петр в своих отношениях к Екатерине был решительно неузнаваем: письмо за письмом посылалось к ней, одно другого нежнее, и каждое полное любви и предупредительной заботливости.

Так, по поводу поездки, о которой государь не раз уже писал, два дня спустя после одного из подобных писем Петр вновь пишет к жене. «Для Бога, – говорит он между прочим, – чтоб я не желал вашей езды сюды, чего сама знаешь, что желаю; и лучше ехать, нежели печалиться. Только не мог удержаться, чтоб не написать; а ведаю, что не утерпишь, и которою дорогою поедешь, дай знать». «Дай Боже, – в волнении писал Петр несколько времени спустя, – чтоб сие письмо вас уже разрешенных (от бремени) застало, чего в олтерацции (т. е. в душевном беспокойстве) своей и радости дожидаюсь по вся часы».

Вслед за письмом отправлен «славнейший лекарь»; его сопровождали различные пожелания насчет беременной «Катеринушки».

Государь тосковал без нее: тоску по ней он стал заявлять очень рано, еще в 1708 году, хотя тогда это высказывалось шуткой, ею и покрывалось желание видеть подле себя «необъявленную» еще подругу. «Горазда без вас скучаю, – писал он ей из Вильно, – а потому, что ошить и обмыть некому...» «Предаю вас в сохранение Божие и желаю вас в радости видеть, что дай, дай Боже!» «Для Бога приезжайте скоряй, – приглашал государь „матку“ в Петербург, в день соб-

ственного приезда в возникавшую столицу, – а ежели за чем невозможно скоро быть, отпишите, понеже не без печали мне в том, что ни слышу, ни вижу вас...» «Хочется (мне) с тобою видеться, а тебе, чаю, гораздо больше, для того что я в двадцать семь лет был, а ты в сорок два года не была...»

Приглашения приезжать «скорая, чтоб не так скучно было», сожаления о разлуке, желания доброго здоровья и скорейшего свидания пестрили чуть не каждую интимную цидулку сорокадвухлетнего супруга.

Откуда же проистекала эта тоска по милой или, лучше сказать, чем поддерживала «Катеринушка» такую страсть в Петре, в человеке, бывшем до этого времени столь непостоянным? Что приносила с собой эта женщина в семейный быт деятельного государя?

С нею являлось веселье; она кстати и ловко умела распотешить своего супруга – то князь-папой, то всей конклавицей, то бойкой затеей веселого пира, в котором не затруднялась принять живейшее участие. Мы тщательно вглядывались в живописные портреты этой, по судьбе своей, замечательной женщины; портреты эти современны ей и ныне украшают Романовскую галерею в Зимнем дворце. Черты лица Катерины Алексеевны неправильны; она вовсе не была красавицей, но в полных щеках, во вздернутом носе, в бархатных, то томных, то горящих (на иных портретах) огнем глаз, в ее алых губах и круглом подбородке, вообще, во всей физиономии столько жгучей страсти; в ее роскошном бюсте

столько изящества форм, что не мудрено понять, как такой колосс, как Петр, всецело отдался этому «сердешнинькому другу». И от нее вовсе не требовалось глубокого ума и какой-нибудь образованности: Петр любил Катерину сначала как простую фаворитку, которая нравится, без которой скучно, но которую он не затруднился бы и оставить, как оставлял многоизвестных и малоизвестных метресс, но, с течением времени, он полюбил ее как женщину, тонко освоившуюся с его характером, ловко применившуюся к его привычкам.

Женщина, не только лишенная всякого образования, но даже, как всем известно, безграмотная, она до такой степени умела являть пред мужем горе к его горю, радость к его радости и вообще интерес к его нуждам и заботам, что Петр, по свидетельству царевича Алексея, постоянно находил, что «жена его и моя мачеха – умна!», и не без удовольствия делился с нею разными политическими новостями, заметками о происшествиях настоящих, предположениями насчет будущих.

Таковы письма его к «Катеринушке» с известиями о битвах со шведами как на суше, так и на море; такова просьба его – самой ей приехать для поздравления его с Полтавской викторией; в том же роде заметка по поводу сдачи Выборга, о сношениях с союзниками или известия о делах в Померании. Особенно знаменательна следующая жалоба государя, которая невольно выливается у него пред «другом Ка-

теринушкой»: «Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо левшею не умею владеть, а в одной правой руке принужден держать шпагу и перо; а помочников сколько, сама знаешь!». Все эти вести, заметки и рассуждения Петра «сердешинькой друг» выслушивала с большим тактом. в ответах, писанных с ее слов секретарем, вы не найдете никаких советов либо пригодных к делу мнений – ни то, ни другое не высказывается, но в то же время здесь, в полушутливом и полусерьезном тоне, являются заявления удовольствия, даже радости, смотря по роду сообщаемых Петром известий; так что государь не ждал помощи в деле от «Катеринушки» – нет, он просто хотел видеть, и к полному своему удовольствию видел, с ее стороны сочувствие к его внутренним деяниям и к его подвигам на ратном поле. Этого сочувствия было достаточно. Петр не требовал больше, что видно даже из его поручений жене: все они ничтожны и состоят из просьб высмотреть место для какого-нибудь завода, прислать кой-какие вещи, съестные припасы, а чаще всего пива да вина. Некоторые просьбы трудно было исполнить, но то были шутки: так в одной из цидулок государь просил, между прочим, чтоб «Катеринушка погодила до середины распродатца» (от бремени).

За всем тем Екатерина была верной исполнительницей желаний мужа и угодницей его страстей и привычек; те и другие охватили все ее собственное существо. Так, с большою ревностью шлет она беспрестанно любимейшие презен-

ты мужа; то есть пиво, водку и вина. Государю частенько доводилось благодарить за эти хотя и хмельные, но вещественные знаки сердечных отношений. Количество подобных подарков распределялось Екатериной соразмерно обстоятельствам, так что в бытность государя на минеральных водах он получал презенты «в одну бутылочку». «Чаю, что дух пророческой в тебе есть, – благодарит Петр за один из подобных презентов, – что одну бутылку прислала, ибо более одной рюмки его не велят в день пить; и так сего магазина будет с меня».

Но, отодвинув бутылки с водкой и вином, заглянем в те отписки екатерининских секретарей, при которых прилагались хмельные презенты.

Из писем Екатерины вошло в печатное издание одиннадцать грамоток до 1717 года; первая из напечатанных относится к 17 августа 1713 года. Все они на русском языке; содержание их вообще небогато, но полно остроумия и шуток, придуманных секретарским ли юмором, или высказанных действительно самой Екатериной Алексеевной и только облеченных в тяжелую форму тогдашних писаний. Тут поздравления с чином генерала, со счастливым окончанием кампании, тут известия о посылке гостинца вроде, например, пива или свежепросоленных огурцов, и все это пересыпано шутками, нежными заявлениями любви, просьбами о скорейшем приезде, рассказами о попойках. Чтоб познакомиться с тоном этих писем, приведем несколько выписок из цидулок, не во-

шедших в издание комиссии.

«Друг мой сердешной Господин Господан Контра Адмирал здравствуй на множество лет, доношу вашей милости, что я приехала сюда по писму вашему. У Государя Нашева со многим прощением просила, чтоб он изволил побыть здесь до Успеньева дня. Но его величество весьма того и слышать не хотел, объявляя многия свои нужды на Москве. А намерен паки сюда приехать к Сентябрю месяцу, и отсель изволит итить конечно сего мая 25 числа. При сем прошу вашей милости, дабы изволил уведомит меня своим писанием о состоянии дражайшего своего здравия и счастливом вашем прибытии к Ревелю; что даждь Боже. Засим здравие вашей милости в сохранение Божие предав, остаюсь жена твоя Екатерина. Из Санктъпитербуха мая 23.1714 г.».

«P.S. вчерашнего дня была я в Питер Гофе, где обедали со мною 4 ковалера, которые по 290 лет. А именно Тихон Никитич, Король Самояцкой, Иван Гаврилович Беклемишев, Иван Ржевской, и для того вашей милости объявляю, чтоб вы не изволили приревновать».

«При отпуске сего доносителя, – писал секретарь от имени Екатерины в новом письме, – ко известию вашей милости иного не имею, токма что здесь, за помощью вышняго, благополучно состоит. А я зело сожалею, что после первого вашего писания, которое изволил писат от финских берегов, никакой ведомости от вашей милости по сие время не имею, и того для прошу, дабы изволили меня уведомит о состоя-

нии своего дражайшего здравия, чего я от сердца желаю слышать. Посылаю к вашей милости полпива и свежепросоленных огурцов; дай Боже вам оное употреблят на здравие. Засим здравие вашей милости во всегдашнее божие сохранение предав, остаюсь жена твоя Екатерина. От 30 Июля 1714. Ревель.».

«Р. S. против 27 числа сего месяца довольно слышно здесь было пушечной стрельбы. А где она была, у вас ли или где инде, о том мы не известны; того для прошу с сим посланным куриером Кишкиным уведомит нас о сем, чтоб мы без сомнения были».

Два дня спустя сомнение разрешилось радостным известием «о николи у нас бывшей виктории на море, над шведским флотом». Петр спешил пред женой излить свою радость; та отвечала поздравлением и известием о пиршестве, которым встретила весть о победе: «А что ваша милость изволили упомянуть в своем письме, чтоб мне здесь вашу милость ожидать, а ежели мне будет время, то ехать в Санкт-Петербург, и я сердечно желаю счастливого вашего сюда прибытия. Но ведаю, что ваша милость дело свое на жену променят не изволите. И намерена я отсель пут свой воспрять с помощью божиею в Санкт-Петербург сего августа с 16 числа. Засим здравие вашей милости во всегдашнее Божие защищение предав, остаюсь жена твоя Екатерина. 4 августа. 1714 г. Ревель. Р. S. Прошу должной мой поклон отдать и поздравит от меня нынешнею викториею Господина Князь-Баса (Ивана

Головина); також извольте у него спросит: нынешние найденыши (т. е. отбитые у шведов корабли) как он пожалует, детми или пасынками?»

«Тажо прошу вас, батюшка мой, ежели не надеетес вскор к нам быть, изволь почаще ко мне писать, что мне в немалое порадование будет».

Без всякого сомнения, во всех этих секретарских грамотках многое, если не все, диктовалось самой Екатериной; разные шутки, доходившие до чрезмерной, и по тому времени обыкновенной, беззастенчивости, прямо показывают, что они непременно должны были принадлежать не кому другому, как ей самой, так как на них не решился бы никто из ее приближенных, хотя бы и от ее имени.

Так, например, она намекала мужу еще в 1709 ходу о забавах... «И того нет у нас, – отшучивался Петр, – понеже мы люди старые и не таковские...» «Пишеш ты, – говорил он два года спустя, – якобы для лекарства, чтоб я к тебе нескоро приезжал, а делам знатно сыскала кого-нибудь вытнее (здоровее) меня; пожалуй отпиши: из наших ли или из тарунчан? Я больше чаю: из тарунчан, что хочеш отомстить, что я пред двама леты занял. Так-то вы, евины дочки, делаете над стариками!»

Подобные шутки были вызываемы и поддерживаемы Екатериной: впрочем, в ее первых письмах, отысканных пока в незначительном числе, такого рода шутки встречаются реже; зато Петр и в эти годы, более и более сближаясь с «сер-

деш-ниньким другом», не упускал случая подтрунить над своей старостью и ее, пока еще мнимою, ветреностью: «Хотя ты меня и не любишь, – замечал он, извещая о поправлении своего здоровья, – однако ж чаю, что тебе сия ведомость не противна, и рюмку выпьешь купно с своими столпами».

1716 и 1717 годы были особенно богаты письмами Петра к Екатерине: в это время государь осыпал ее ласками, подарками, беспрестанно заявлял желания скорейшего свидания, являл заботливость о детях Екатерины и зачастую посылал свои грамотки к ней одну за другой, в расстоянии четырех-пяти суток.

И вот, когда страсть государя к жене обратилась в то чувство глубокой привязанности, которая прекращается разве со смертью, в то время, когда Петр от нежной цидулки к жене переходил к предписанию сыщикам ловить первенца-сына, – в это-то время Екатерина, гордая победой над сердцем «старика-батюшки», обращает взор, исполненный особенной ласки, к своему новому придворному.

IV. Камер-юнкер Виллим Монс (1716–1723 годы)

Генеральс-адъютант Петра, Виллим Иванович Монс, принят в начале 1716 года камер-юнкером ко двору государыни царицы Екатерины Алексеевны.

«Я от сердца обрадовалась, – писала к новому камер-юнкеру сестра его, ловкая, догадливая Матрена Ивановна, – от сердца обрадовалась, что вы, любезный мой брат, слава Богу, в добром здравии; Боже помози вам и впредь! А вы ко мне пишете, что то к счастью или несчастью. Бог вас сохранит от всякаго несчастья».

В чем состояли обязанности нового камер-юнкера, какие обстоятельства могли поставить Монса в частые сношения с Екатериной и тем самым дали ему возможность вызвать ее особенное внимание?

Собственно служебные обязанности камер-юнкера не были точно обозначены, но в его руки мало-помалу перешло многое, что до сих пор было разделяемо между разными придворными. Так, в руках камер-юнкера сосредоточились дела по управлению сел и деревень, состоявших за государыней; управляющие и приказчики, а также игуменьи тех обителей, которые находились под особым покровительством царицы, в скором времени стали присылать к нему отчеты по

имениям, по монастырям, сметы доходов и расходов; у него просили доклада о тех или других распорядках пред государыней. Рассылка ревизоров, затем все постройки, продажи и закупки по имениям Екатерины пошли чрез его руки. Принятие на службу в ведомство государыни разных лиц, суд и расправы не только над ними, но даже разборка дрязг между монахинями и настоятельницами царицыных пустынь (например, Успенского девичьего монастыря в Александровой слободе, Федоровского девичьего в Переславле и другие), назначение жалованья, содержания, наград и вспомошествованья, отставка дворцовых чиновников и служителей государыни – все стало зависеть от Монса. А тут легли на него заботы по устройству праздников и гуляний, до которых такая охотница была его госпожа; он должен был поспевать со сбором сведений о разных новостях для доклада ей; должен был пробегать множество челобитень, с которыми как знатные, так и незнатные лица во множестве обращались к Екатерине: для него составлялись экстракты из сих челобитень, и те экстракты он докладывал царице, когда находил к тому время и желание; он должен был вести корреспонденцию с заграничными поставщиками товаров государыне и ее семейству, ведаться с ее портными и портнихами по поводу заказов платьев, заведывать ее денежной казной, ее драгоценностями, как-то брильянтами и проч. Все ордера Екатерины объявлялись и писались либо самим Монсом, либо под его непосредственным наблюдением.

И все это он должен был делать не иначе, как состоя неотлучно при государыне.

Камер-юнкер сопровождал ее за границу, хлопотал во время всех ее переездов об удобствах в пути и при остановках по городам, распорядился выдачей прогонов ее приближенным; наблюдал за экипажами, укладкой, ведал конюшнями государыни – и, между тем, его можно было видеть близ государыни везде, на всех торжественных обедах, на ассамблеях и маскарадах. На нем же, двадцативосьмилетнем, статном, всегда веселом и пленительном камер-юнкере, состояла обязанность развлекать Екатерину во время частых и продолжительных ее разлук со «стариком-батюшкой». Все это входило в область служебных обязанностей Виллима Ивановича, и все это, разумеется, никак не могло делать его службу скучною, неблагоприятною, незаметною.

При неизбежных хлопотах он видел себя распорядителем значительных материальных средств; бедность заменилась не только достатком, но даже роскошью; самолюбие и тщеславие были удовлетворяемы вниманием и заискиванием у него множества лиц разного пола, звания и состояния, нуждавшихся в нем как в посреднике при сношениях с государыней; наконец, ее полнейшее расположение и доверие как нельзя более должны были льстить счастливцу.

Не было ли нравственных достоинств на стороне Монса, вообще говоря – нет ли данных, по которым резче и отчетливее обрисовалась бы пред нами его личность?

Данные эти есть, и они сохранились в его записных тетрадках и письмах. Русская грамота ему почти не далась, немецкую он знал хотя и плохо, впрочем пользовался ею довольно свободно, не только в прозе, но и в стихах. Из-за домашнего очага бочарного ученика Ивана Монса и его ворчливой, суеверной старухи Виллим вышел полный всевозможных предрассудков и верований. Смотрите, с какою, например, верою в непреложные истины своей гадальной книги он вчитывается в ответы «тридцати-шести судей»; ответы эти подобраны на вопросы, а те, в свою очередь, расположены в астрологическом порядке – «по двенадцати небесным домам».

«Будет ли твое счастье постоянным или нет? Хорошо ли, что ты завел дружбу с тою особою?» На этих и тому подобных вопросах останавливается Монс и в разнообразных изречениях находит советы и заметки, пригодные в его положении. «Судьи» гласят ему, например, «чтоб он не вспоминал о прошедшем: там он увидит только страх и нужду; зато в настоящем ему многое благоприятствует». Гадальная книга пророчила: «Ты будешь отменный гений, но недолго проживешь; достигнешь великих почестей и богатства; будешь иметь не одну, но несколько жен различного характера; будешь настоящий волокита, и успех увенчает эти волокитства». Та же гадальная книга вещала подобные премудрости: «Когда откроешь свою тайну другому или третьему, то все ее узнают; но, впрочем, добрым друзьям ты можешь

открыть свои тайны»; «Особа (про которую он допрашивает астрологию) слишком хитра и коварна», ему верна и любит его от всего сердца. И тут же: «Хотя и любит тебя эта особа, но она хочет тебя сперва испытать, будешь ли ты постоянен?». «Нет, – восклицает семнадцатый судья, Орфей, – твои надежды на высокие почести и возвышение тщетны» и т. д.

В противоречивых предсказаниях путается наш герой, часто советовавшийся с гадалницей. Рукопись эта списана его рукой, замаслена и обтерта: по всем признакам, Виллим Иванович не расставался с ней. Астрология, однако, не удовлетворяет его; и вот суеверный камер-юнкер, не полагаясь ни на нее, ни на красоту свою, ищет более надежных средств к удержанию за собой капризной фортуны; он жаждет успехов по службе, богатства, успехов в прекрасном поле и прочих лавров: где же средства пожать их возможно легче? Это укажет ему колдовство, хиромантия.

И вот он ищет «некоторую траву, которая растет на малой горе, красноголовая, с белыми пятнами, а другая с синими пятнами, которая растет на песку».

Если бы мы могли встретить вечно франтоватого Монса, мы бы заметили на его пальцах несколько разнообразных перстней; владелец их, разумеется, скрыл бы от нас таинственное их значение, но в записных его тетрадках мы находим изъяснение перстней. Оно составлено каким-нибудь из оракулов Монса. Вот, например, перстень чистого золота; не без основания не расстается с ним камер-юнкер: «Это есть

перстень премудрости; кто такой перстень носит, тот может что хочет говорить о всех вольных художествах сего света. Все доктора его не преодолеют, как бы они учены ни были; что он ни говорит (т. в. владелец перстня), то всякому приятно». Не менее важен оловянный перстень. Казалось, для чего бы его носить? А это, между прочим, «перстень сокровища: ежели кто такой перстень носит на руке, то тому достанутся серебро и золото». Как же после этого не иметь его всегда при себе? Тут же талисман для «побеждения всех противностей, хотя бы то весь свет один против другого восстал». Это железный перстень. Не забыт и перстень любви: это медное кольцо. Виллим Иванович хорошо знает, что «кто сей перстень имеет, тот должен употреблять его мудро, понеже можно много зла оным учинить; кто женский пол оным прикоснет, тая его полюбит и учинит то, что он желает».

Должно быть, владелец особенно часто обращался к медному перстню; Монс был немец пылкий и необыкновенно влюбчивый. «Марс – третий судья» из гадальной его тетради недаром же предсказал, «что он будет настоящий волокита, и успех увенчает его волокитство». Он ухаживал разом за несколькими красавицами, успевал везде, и свои подвиги держал в строгой тайне; то не был грубый ловелас; нет, во всех любовных шашнях Монс являлся нежным романтиком, немцем, начитавшимся разных сентиментальных стихов; в подражание им он и сам кропал стишонки.

Еще в период юности Виллим Иванович проводил мно-

гие часы за подбором рифм к какому-нибудь «ненаглядному купидону», к «ангелу души», к какой-нибудь «слободской» красавице Амалии. Подойдем к нему, посмотрим, что он выводит пером на лоскутках записной тетради. Какие-то отдельные слова, разумеется, на немецком языке; это остов будущего послания: «Мое сердце... ранено... отчего... раз вечером... о Амалия!.. Мое сердце – Амалия... влюблено... до смерти... прощай, мой ангел...» Страсть, романический вечер, раненое сердце, разлука – все это материал к сентиментальному посланию. Но оно не сразу составляется; ему предшествуют отрывочные строчки: «Ничего нет вечного на свете – но та, которую я люблю, должна быть вечна... Мое сердце с твоим всегда будет едино!.. Моя любовь – мое горе, так как с тобой я редко вижу...» И вот слагаются наконец немецкие куплетцы следующего, в прозаическом переводе, содержания.

«...Куда исчезла моя свобода? Я сам не свой, не знаю, за чем стою, не знаю, куда иду... Какую силу назначила мне судьба народов? Начатое мною заставляет надеяться... Но к чему послужат мои речи, мои жалобы? Я волнуюсь: то думаю, что сбудется мое желание, то вновь сомневаюсь...» и

«Вы, чувства, которые мне
Одно несчастье за другим причиняете,
Вы указываете, вы мне восхваляете
Красоту моего светила!
Оно, светило это, мне и улыбнулось,

Но вы же, чувства, его затемняете...

Но я должен думать, что все мое огорченье

Предопределено, – так бывает в свете!»

В придворной жизни Монса ждали радостные улыбки не одного светила: молодой красавец камер-юнкер скоро занял видное место между львами катерининских камер-фрау, фрейлин и разных близких к государыне аристократок.

Между дамами и девицами тогдашнего двора, даже и на строгий вкус пришлых иноземцев, было много красавиц: тут были и княгиня Черкасская, львица петровского двора, и княгиня Кантемир, предмет временной любви и увлечения Петра, и нам уже хорошо знакомая злополучная красавица Марья Даниловна Гамильтон, и угодливая Анна Ивановна Крамер – словом, от высших персон прекрасного пола до второстепенных личностей Монс во всех рядах мог находить предметы своего обожания.

«Кто спутан узами любви, – говорил вечно влюбленный камер-юнкер, – тот не может освободиться, и кто хочет противостоять любви, тот делает оковы свои тягостнее». «И кто хочет разумно любить, так держи это втайне. Любовь может принести огорчение, если откроется. К чему другим знать, что два влюбленных целуются?»

С этими взглядами на любовь, с этими правилами Монс еще скорее мог рассчитывать на победы. Они одерживались им нередко; нежные цидулки летели при посредстве сест-

рицы его Матрены, либо племянника Балка, либо, наконец, «слободских» приятелей – доктора Брейтигама и Густава Функа в разные семейства, русские и иноземческие. Цидулки писались на немецком языке, прозой и стихами; писались они и на русском языке, но немецким шрифтом, так как герой наш не знал русской грамоты.

Вскроем интимную переписку Виллима Ивановича; она не безынтересна для знакомства с тем временем.

«Здравствуй, свет мой матушка, – пишет Монс, как видно, к русской барыне, так как письмо писано по-русски, немецким шрифтом, – ласточка дорогая, из всего света любимейшая; винность свою приношу, для того что с вами дружны были; да прошу помилуй меня тем, о чем я просил».

«...А я прошу, – говорит он в другой цидулке к той же ласточке, – пожалуй, матушка, в том на меня не погневайся, что я не писал и в том любовь вини, заставляя держать в сердце, а я прошу – пожалуй, не держи гнева на меня...»

«Сердечное мое сокровище и ангел, и купидон со стрелами, желаю веселого доброго вечера. Я хотел бы знать, почему не прислала мне последнего поцелуя? Если бы я знал, что ты неверна, то я проклял бы тот час, в котором познакомился с тобою. А если ты меня хочешь ненавидеть, то покину жизнь и предам себя горькой смерти... Остаюсь, мой ангел, верный твой слуга по гроб».

В самый разгар нежной «коррешпенденции» приятель Густав Функ извещает Монса: «Насчет известной особы гово-

рят, – пишет Функ, – будто ее противники перехватили ее письма, которые она к тебе писала; правда ли это или нет, однако постарайся узнать об этом поподробнее, чтобы не ввести и себя, и других в неприятности из-за такой безделицы. Извести меня поскорее об этом; ты все узнаешь от благоклонной к тебе особы».

Таинственные извещения друзей напоминают об осторожности; «de Monso du Crocy» – так отныне стал подписываться камер-юнкер – принял меры, интимнейшие цидулки свои стал он зачастую писать особыми буквами либо условной формой: от лица женщины либо к мужчине вместо женщины.

А тут вирши – русские, в немецких метрах – так и выливаются из-под пера обожателя; он шлет «к сердечному купидону» горькую жалобу на свою любовь:

Ах, что есть свет и в свете? ох, все противное!
Не могу жить, ни умереть. Сердце тоскливое,
Долго ты мучилось! Неупокоя сердца,
Купидон, вор проклятый, вельми радуется.
Пробил стрелою сердце, лежу без памяти,
Не могу я очнуться, и очи плакати,
Тоска великая сердце кровавое,
Рудюю запеклося, и все пробитое.

Растерзанное сердце, однако, зажило, герой стал забывать героиню. Он обратил вздохи и излияния к другим; та опеча-

лилась, стала ревновать; история обыкновенная во все времена, во всех классах общества. Монсу, однако, от этого не легче.

«Не изволите за противное принять, – писал он к одному из любезных ему друзей и, кажется, к женской персоне, – что я не буду к вам ради некоторой причины, как вы вчерась сами слезы видели; она чаёт, что я амур с герцогинею курляндскою (Анною Ивановною) имею. И ежели я к вам приду, а ко двору не поеду, то она почает, что я для герцогини туда (т. е. к тебе) пришел и для того сие за противно не приемлю».

Какая-то новая красавица, русская боярыня приковывает к себе сердце влюбчивого немца; идет живой обмен чувствительных посланий.

«Здравствуй, моя государыня, – так отвечает на одно из них Монс, – кланяюсь на письмо и на верном сердце вашем. И ваша милость меня неизречно обрадовала письмом своим. И как я прочел письмо от вашей милости присильное (т. е. присланное), то я не мог удержать слез своих (от) жалости, что ваша милость в печали пребываешь и так сердечно желаешь письма от меня к себе. Ах, счастье мое нечаянное! Рад бы я радоваться об сей счастливой фортуне, только не могу, для того что сердце мое стиснуто так, что невозможно вытерпеть и слез в себе удержать мужу (не могу?). Я плакал о том, что ваше сердце рудой облилось так, как та присильная (присланная) красная лента (облита была слезами). Ах, печальны мне эти вести от вашей милости, да и печальнее все-

го мне это, что ваша милость не веру держишь, и будто мое сердце (в радости), а не в тоске по вашей милости, так как сердце ваше, в письме дано знать, тоскливое. И я бы рад писать повседневно к вашей милости, только истинно не могу и не знаю, как зачать писать с великой любви и опаси, чтобы не пронеслось и людям бы не дать знать это наше тайное обхождение. Да прошу и коли желаешь ваша милость, чтобы нам называть друг друга „радостью“, так мы должны друг друга обрадовать, а не опечалить. Да и мне сердечно жаль, что ваша милость так тоскуешь и напрасно изволишь молодость свою поработить. Верь, ваша милость; правда, я иноземец, так правда (и то), что я вашей милости раб и на сем свете верный тебе одной государыне сердечной. А остануся и пока жив остаюся в верности и передаю сердце свое. Прими недостойное мое сердце своими белыми руками и подсоби за тревогу верного и услужливого сердца. Прости, радость моя, со всего света любимая».

Кто это была «государыня» Монсова «сердца» – неизвестно; известно только то, что все эти излияния производились Монсом в бытность при «дому Катерины Алексеевны» и именно тогда, когда лучи сего высокого «светила» стали сильно согревать его как в вещественном, так и в моральном отношениях.

Еще в первый год своего камер-юнкерства Виллим Иванович получал довольно скудное жалованье да в бытность за границей около 200 талеров в год порционных; но уже там, за

границей же, материальные его средства настолько улучшились, что он имел возможность давать деньги в долг ближним к нему лицам; еще гофмаршал Матвей Олсуфьев предписывал Монсу в начальническом тоне позаботиться об исполнении служебных обязанностей камер-юнкера ее величества, т. е. в бытность, например, в г. Везеле распорядиться, между прочим, сваркой полпива, выждать, когда оно уходится, разлить его затем по малым бутылкам, поставить в холодном погребу и т. п., но холодный тон начальника несколько месяцев спустя изменился: тот же Олсуфьев стал звать Виллима Ивановича «государем моим братцем» и писал уже к нему в почтительных выражениях.

Другой из начальных лиц при дворе Катерины – Дмитрий Шепелев – еще скорее сознал необходимость стать со счастливым камер-юнкером в самые дружеские отношения. «В письме своем, – писал шутливо Шепелев новому другу в Везель из Шверина в январе 1717 года, – в письме своем изволите упоминать: псовке карлице сказать, чтобы она себя поберегла до вас. Воистинно, мой государь, псовка карлица не для вас, больше для нас; о чем вы сами известны, какая у нас с нею любовь. Впредь прошу не изволь ее упоминать так в письмах своих. Прошу вас у моего друга, не оставь нас в своих письмах и в своей любви...»

Монс в это время был при государыне в Везеле; его окружали вообще лица, с которыми он находился в самых лучших отношениях; так, государыню вместе с ним сопровожда-

ли Анисья Кирилловна (Толстая), Аристовна, Крестьяновна, полковница Кампенгаузен, фрейлина Марья Даниловна Гамильтон, камерфрау, весьма любимая царицей, Яганна Петрова, Устинья Петрова, камер-юнкер поручик Балк (племянник Монса), доктора Поликола и Лесток и некоторые другие лица.

Между всеми ими первая роль выпадала Виллиму Ивановичу, и вот между прочими искателями благосклонности фаворита весьма рано является знаменитый впоследствии Алексей Петрович Бестужев-Рюмин; он «униженно благодарствовал его благородие за комплимент его» и не менее униженно просил ходатайства по своим делам.

Это заискивание тем интереснее, что почти одновременно тот же Бестужев писал известное «предательское» письмо беглому царевичу Алексею Петровичу, предлагая ему свои услуги. Таким образом будущий правитель России (1744–1758 гг.) теперь закидывал якорь в оба противные лагеря: на сторону царицы Екатерины Алексеевны и ее ненавистника, ею взаимно ненавидимого царевича Алексея Петровича.

Победа первой была, однако, близка. Истязания сторонников Алексея и затем его собственная мученическая гибель были рядом торжеств партии Екатерины.

Усиление значения ее неминуемо отражалось и на всех ее приближенных, а из них, разумеется, прежде всего на Монсе.

Посмотрите, с какою торопливостью втираются в дружбу почти к неизвестному выходцу Немецкой слободы тогдаш-

ние баричи, знаменитейшие если не из «птенцов», то уж из «птенчиков» петровского двора. Вот, например, князь Андрей Вяземский, тщательно расспрашивающий о здоровье и житье-бытье «государя друга своего» Виллима Ивановича; вот Иван Шувалов, отец будущего временщика императрицы Елисаветы, напоминает «о неоставлении его и всей фамилии в своей милости», причем уверяет, что они, Шуваловы, «уповают на его милость, якобы на отца родшего»; князь Александр Черкасский уверяет «верного друга – своею верностью» и «покорно просит, чтоб тот его не оставил в своей милостивой и верной дружбе, чего с радостью желает».

Артемий Петрович Волынский, съездивший уже в Персию посланником, быстро шедший в гору в своих честолюбивых стремлениях к почестям, богатству и отличиям, и тот не замедлил протянуть руку Виллиму Ивановичу: в конце 1720 года он уже называет его «любезным другом и братом» и, уверяя, что по болезни не может ехать в Астрахань, убедительно просит Монса: «Пожалуй, мой батюшка, донеси премилостивой матери, всемилостивейшей царице государыне, что(б) сотворила со мною, рабом своим, милость, – ежели случится к слову, чтоб милостиво предстательствовала. Клянуся Богом, что не имею ни малой причины, зачем бы мог до сего времени здесь (в Москве) медлить». А для усиления предстательства Волынский дарил камер-юнкера не одними уверениями в дружбе: он презентовал ему лучшую лошадь из своих животов, и все это только для того, чтоб тот «непре-

менно его в своей милости и любви содержал».

Все это были еще только простые, так сказать, бескорыстные заискивания Монсовой благосклонности; услуги, которых у него просили, были неважны. Так было в первые годы; затем, согретаемый любовью «премилостивой матери», Монс не замедлил вмешаться в дела более важные.

Мы видели, например, выше, что он успел пожать некоторые лавры при дворе вдовствующей герцогини Курляндской; с нею и ее приближенными он остался на всю жизнь в самых дружеских отношениях, и митавский двор имел в Монсе сильного ходатая по разным щекотливым и секретным делам; так, в 1719 году, когда нежный дядюшка герцогини Курляндской Василий Федорович Салтыков, в бытность свою в Митаве, грубо обходился с племянницей, когда он совершенно бросил не раз избиваемую им жену Александру Григорьевну (рожд. княжну Долгорукову) и та приютилась под кровом герцогини Анны Ивановны, – обе женщины сильно нуждались в помощи Монса; камер-юнкер своим ходатайством у Екатерины сильно противодействовал оговорам Салтыкова; последний, успев возбудить против племянницы ее мать, царицу Прасковью, не успел, однако, по милости Монса, поссорить с Анной Ивановной государыню; последняя, напротив, вошла по этому поводу в милостивую «корреспонденцию» с герцогиней, а избитой Александре Григорьевне выпросила у государя позволение остаться в Варшаве, при ее отце, полномочном русском после князе Григорье

Федоровиче Долгорукове.

Старания Салтыкова вытребовать ненавистную жену к себе в Петербург, без сомнения, на новые кулачные поучения, остались тщетны. Долгоруков, обрадованный вниманием государыни, послал челобитье о разводе его дочери. Надо, чтоб челобитная имела ход, чтоб о ней кто-нибудь напоминал – и вот Александра Григорьевна Салтыкова просит нам знакомую Матрену Ивановну Балк.

Враждующие стороны принадлежали к именитейшим фамилиям: на стороне Василия Федоровича Салтыкова была царица Прасковья, имевшая столь важное значение; на его стороне были родственники Салтыковых – Ромодановские и многие другие, не менее знатные, не менее сильные по связям и значению аристократические семейства; притом же вся эта сторона была в столице, при дворе: тем осторожнее нужно было действовать Александре Григорьевне.

Матрена Ивановна Балк была для нее только посредницей; собственно письма Салтыковой к Матрене Балк имели в виду ее братца; тот и отвечал – русскими грамотками, излагая их немецкими буквами; письма эти не подписывались и, мало того, Виллим Иванович, для большей предосторожности, писал их в женском роде, в виде ответов своей сестры: «Здравствуй, матушка Александра Григорьевна... прошу вас, мою государыню, чтобы я не оставлена была писаньем вашим, которое принимаю себе за великое счастье. Когда я увижу от вас к себе письмо ваше, то Бог мой свиде-

тель, что я (его) с великой радостью воспринимаю, и труд свой столько прилагаю делу вашему, что Богу одному сведо-мо, и стараюсь, чтобы вскоре окончить в добром состоянии к вашему желанию и надеюсь, что вскоре после праздника. Токмо вас прошу не извольте печалиться и себя безвремен-но сокрушать об оном деле; все Богом будет исправлено, понеже ея величество вельми к вам милостива и нивесть как сожалеет об вас, такожде об родителе вашем».

Предосторожность, наблюдаемая в форме и содержании писем, наблюдалась и при пересылке корреспонденции; она шла чрез гофмаршала митавского двора Петра Михайловича Бестужева-Рюмина. Положение гофмаршала было не совсем прочно: как сторонник и Анны Ивановны, и Долгоруких, он имел сильных противников в фамилии Салтыковых с Ромо-дановскими и должен был прибегать к дружескому заступ-ничеству Монса. Вот почему он рассыпался в предложени-ях услуг: «Извольте, государь мой, мне поверить, что я зело обязуюсь верным ко услугам вашим быть при вашей коро-шпанденции. Извольте оныя письма ко мне, при всеприят-ном вашем писании, присылать; я оныя в надлежащее место верно и во всякой охранныости отправлять буду, понеже мне оное известно и весьма секретно содержать буду».

Дело, однако, о разводе Александры Салтыковой не до-велось окончить в «добром состоянии»: противная партия слишком была сильна, и Монсу было невмочь еще побороть ее совершенно; супруги оставались разъехавшимися, но не

разведенными...

Успешнее было ходатайство Виллима Ивановича, одновременно с этим делом, за Иоанна-Эрнеста Бирона.

Человек незнаемый, принадлежавший к «бедной фамилии, не смевшей к шляхетскому стану мешаться», Бирон в молодости оставил родину и поселился в Кенигсберге для слушания академических курсов; ленивый, неспособный, он вдался в распутство и в 1719 году попал в тюрьму за участие в уголовном преступлении; девять месяцев томился он в тюрьме, после чего был выпущен с обязательством или уплатить 700 рейхсталеров штрафу, или просидеть три года в крепости. Монс еще в бытность свою в Кенигсберге, во время хлопот по делу сестры своей Анны фон Кейзерлинг, познакомился с молодым развратником. Знакомство это, не делавшее чести Виллиму Ивановичу, было спасительно Иоанну-Эрнесту. Теперь, когда над последним грянула гроза, Монс вспомнил о приятеле и, чрез посредство посланника Мардефельда, исходатайствовал ему у короля прусского прощение. Оставивши Кенигсберг, Бирон отправился в Россию, в обеих столицах ее встретил к себе полное пренебрежение, но в Митаве, при дворе вдовствующей герцогини Анны Ивановны, ему улыбнулась фортуна.

Так один фаворит-немец, на зло и продолжительные бедствия своему новому отечеству, спасал от гибели другого немца. Можно положительно сказать, что, не явись Монс заступником, Бирон, раз ставши на дорогу беспутства и раз-

врата, сгинул бы в прусских тюрьмах.

Мы бы крайне утомили наших читателей, если бы повели их за спасителем Бирона во всех его переездах при государыне Екатерине Алексеевне в 1721, 1722 и 1723 годах; не для чего заходить нам и в ассамблеи, становиться в маскарадные процессии, приглядываться на пирах к стоящим за стульями высоких персон камер-юнкерам и к денщикам, чтоб отличить в их числе сияющего довольством, счастьем, красотой, вечно франтоватого Монса. Мы не займем места ни в одном из богато убранных бауров, длинной лентой вытягивающихся к Катерингофу: то увеселительная прогулка; будьте уверены, что в ней участвует Монс. Вот он стоит на речном судне, сзади величественной своей патроны; полюбуйтесь, каким стройным щеголем выглядывает он: кафтан дорогого бархата с серебряными пуговицами обхватывает стройный стан камер-юнкера; кафтан оторочен позументом; серебряная лента заменяет пояс; на ногах шелковые чулки и башмаки с дорогими пряжками; под кафтаном жилет блестящей парчи, на голове щегольски наброшена пуховая шляпа с плюмажем; все это с иголочки, все это прибрано со вкусом...

Речное катанье сменяется прогулкой в «огороде», т. е. в Летнем саду. Вот близ романического грота, в тени аллеи Летнего сада, музыканты маленького, невзрачного и вечно веселого, т. е. навеселе, герцога Голштинского услаждают слух высшего общества; слушает и Катерина; она милостиво протягивает руку к Монсу и кладет туда несколько червон-

цев – то награда музыкантам. Монс несет, по ее поручению, кубок венгерского к тому или другому из гостей; Монс доносит ей, в каком расположении духа государь, где он сидит, с кем беседует, куда отправляется; волей-неволей Монс всегда и везде при «великом светиле», к которому он, говоря его стихотворением: «воспылал любовью, меж тем как должен был только его уважать».

Есть ли фактические, документальные, свидетельства об этой любви?

Таких свидетельств нет; но что Монс бесспорно владел в это время сердцем Катерины Алексеевны, об этом можно судить из того необыкновенного значения, какое получил он при ее дворе. Это значение, власть и сила сознавались уже всеми не только знатными придворными, но даже последними из дворцовых служителей и служительниц; все как нельзя лучше видели источник этой силы: он заключался в любви к нему Екатерины.

Переберем ворох писем к Виллиму Ивановичу за эти годы, и мы в шумихе льстивых заверений в дружбе, любви и уважении к Монсу – не только со стороны «птенчиков», но уже со стороны крупных «птенцов» Петра – найдем несомненное доказательство, что все эти заверения, обещания, наконец, взятки не могли расточаться обыкновенному любимцу: то был уже настоящий фаворит, владевший не только сердцем, но и волей своей обожательницы.

Общий характер почти двух с половиною сотен писем,

полученных Монсом за три года (1721–1723) и дошедших до нас, – это необыкновенное пред ним унижение просителей. Унижение слышно в тоне просьбы, видно в подписи, в обращениях: истопники, дворцовые конюхи, лакеи, посадские люди, торговые гости, иноземцы, фабриканты, помещики, помещицы, люди служилые, чиновники, дьяки, армии и гвардии офицеры, священники, архимандриты, архиереи, губернаторы, резиденты и полномочные русские послы при разных дворах, наконец, высшие государственные чины и представители знатнейших русских княжеских фамилий – все эти лица столь различных степеней по происхождению, богатству и образованию не стыдились (платя дань своему времени) льстить и принижаться предлюбимцем.

Какие разнообразные эпитеты и громкие титулы прилагались к имени Монса – от слов «высокоблагородный патрон» до «ваше премилосердное высочество»! Так, Монса называют его клиенты и имевшие в нем нужду «его превосходительством», обещают «за него Бога молить», признают в нем «единого в свете милостивца», с ним едва «дерзают говорить», слух его утруждают «просьбишкой», простолудины бьют челом с обычными эпитетами «отец ты наш батюшка, Виллим Иванович!» или «премилостивый государь, сотвори ты над нами наиудивительную милость», «не дай, батюшка-свет, вконец раззориться». Помещики да чиновники ставили в оголовках длинейшее обращение: «благородному, высокопочтенному господину, господину капитану, ми-

лостивому моему отцу и государю Виллиму Ивановичу»; высшие сановники писали проще: «добрый приятель», «сердечный, наивернейший друг и брат Виллим Иванович»; наконец, «высокографским сиятельством» и «премилосердным высочеством» именовали его некоторые из голодных иноземцев, приезжавших на разживу в гостеприимную Московию, только что возведенную на «превысочайшую степень» империи Российской.

В чем состояли эти письма? Тут были простые напутствия о себе и обещаниях Монса похлопотать по разным делам; тут были сообщения различных политических новостей для сообщения при случае государыне; затем большая часть писем состояла из прошений родителей за своих детей, поступавших на службу, причем пишущий считал нужным сказать: «Ежели Бог очи ваши сподобит государя моего видеть, то почтусь, по своей возможности, вам, государю моему, отслужить!»

Множество было прошений о месте, чине, награде, отпуске, увольнении от смотра, от службы, освобождении от повинностей, из-под ареста, о перевершении судного дела в той или другой коллегии, об заступничестве от кредиторов, об отставке в исполнении приговора, просьба о большом займе из сумм государыни на основание фабрики, просьбы об исходатайствовании прощения ссыльных или возвращения описанных имений родственникам, просьбы об исходатайствовании губернаторства или нескольких сотен крестьянских

дворов со всеми угождями, просьбы о заступничестве перед какими-нибудь сильными мира тогдашнего, например, перед Никитой Ивановичем Репниным, Ив. Ив. Бутурлиным, Петром Андреевичем Толстым, Дмитрием Мамоновым, Брюсом, Нарышкиными, Андреем Артамоновичем Матвеевым. «Они для вашей просьбы все могут сделать; не оставь своей милостью, за что вам, государю моему, рабски служить готов вам»; просьба закреплялась иногда такого рода подписью: «тягловой ваш крестьянин подполковник Козлов пад до лица земли, премного челом бью».

Просьбы по делам особенно важным и щекотливым высказывал словесно податель письма; так обыкновенно делали знатнейшие как «мужския, так и женския персоны», просьбы которых нередко относились до дел семейных. Нередко также письмо состояло из незначительных фраз, но тут же прикладывалась цидулка без подписи; в ней вкратце излагалась просьба и назывался подарок за ее исполнение.

Последние цидулки с изложением подарков были особенно дороги Виллиму Ивановичу; подарки подогревали его ходатайство и редкое прошение, подкрепленное не только настоящим презентом, но даже простым обещанием взятки, оставляемо было им без внимания. Монс, как увидим, брался хлопотать, в уважение подарков, по делам весьма важным и трудным: так, он хлопотал, и не безуспешно, за освобождение разных сосланных аристократов по делу царевича Алексея; он выхлопатывал жалованные грамоты на торговлю; он

ставил даже – трудно поверить, а это было так – вице-президентов, и т. п.! И все то за «превеликие презенты».

Но обратимся к письмам и остановим внимание наших читателей на грамотках более интересных.

«Прошу я у тебя, высокопочтенный государь мой Виллим Иванович, – пишет камер-паж Павлов, молодой человек, беспутный, но богатый, даривший Монса разными подарками, как-то: золотыми часами и проч., и потому терпимый на службе при государыне, – прошу я тебя, пожалуй, не оставь меня в своей милости, как ты, мой государь, начал меня по своему милосердию жаловать; и больше ни о чем не прошу, только пожалуй, мой государь, Виллим Иванович, не оставь меня в своей милости».

«... Не оставьте меня в великой моей нужде, – вопиет ювелир Рокентин, угодивший впоследствии, как увидим, под кнут, – ибо я не знаю, как отделаться от притесняющих меня кредиторов. Будьте милосерды и помогите мне, Бог за это вас наградит!»

«И господин полковник соизволил сказать, – молит армии поручик, – чтоб я о ранге моем покорно, слезно просил бы вас, премилосердного моего государя, и я рабски, всенижайше, покорно, слезно прошу вашего милосердия, покажите надо мною свою высокую милость».

«Ваше превосходительство всюду приобрели славу великодушия, – так писали Монсу заезжие немцы, искавшие теплого местечка на Руси, – слава вещает о том великодушии, с

каким вы являете помощь всем нуждающимся. Поэтому ваше превосходительство не осудите меня, если я дерзаю сказать, что вот уже семнадцать месяцев, как я живу в Петербурге, не имею средств к пропитанию» и проч. «Не оставьте! Бог да возблагодарит вас за высокое великодушие ваше» и проч.

С этими же мольбами представляется в передней у Монса депутация из города Риги; но кроме небесной награды она обнадеживает его в ближайшей, земной их благодарности. Депутация просит ходатайствовать по делу компании Черных голов...

«И так как вы, – пишут они в челобитье к Монсу, – вероятно, обременены важнейшими делами, то мы, опасаясь, чтоб наше дело не было бы предано забвению, осмеливаемся всепокорнейше повторить нашу просьбу о представлении всего дела его (!) императорскому величеству, ибо без всемилоостивейшего покровительства государя наше учреждение, существовавшее столько веков, должно рушиться. В надежде, что по вашему ходатайству наша компания удостоится... и проч. мы имеем честь уверить вас, что обещанная нами благодарность будет в точности исполнена».

Подобная благодарность заявлялась Виллиму Ивановичу в самых разнообразных формах; так, например, некто Иван Никитич Хитрово, видя, что тяжба его с каким-то Дашковым о наследстве по духовному завещанию одной из царевен вершится в Юстиц-коллегии в пользу его противника,

поспешил обратиться к Монсу; дал ему расписку в пятистах рублях, будто бы у него занятых; следствием подобного займа было то, что дело перенесено сначала в Преображенский приказ к доброжелательному к Монсу Ромодановскому, а потом в кабинет его царского величества, в распоряжение благоприятеля Монса, Алексея Васильевича Макарова; нечего и говорить, что тяжба перевершена, как того нужно было займодавцу.

Богатый негоциант из города Риги несколько раз был требуем в Петербург для предъявления в Берг-коллегию состоявшей на нем и его товарище недоимки; требования были настойчивы. Негоциант слезно восплакался пред камер-юнкером и в одном из своих писем довольно искренно объявил: «И когда старанием вашим избавлен буду от своей напасти, то прошу покорно вложенную цидулку принять и к кому изволите оную прислать, готов исполнить; токмо и паки прошу вас со слезами, чтоб (прошения моего) не забыть» и проч.

Цидулка не сохранилась, но, без сомнения, то была расписка вроде предыдущей или какой-нибудь перевод денег на другого негоцианта.

Между тем умирает богатый помещик Мартемьянов; он последний в роду, имение его выморочное,¹⁰ он завещает его дальнему родственнику, школьнику Камынину.

Провинциал-фискал протестует, московский надворный

¹⁰ ...имение его выморочное... – т. е. имение, которое после смерти его хозяина никому не завещено.

суд препровождает дело с неблагоприятным для Камынина заключением в Сенат; по указам деревни покойника никак не попадут наследнику: они поступят в казну. К кому обратиться, чтоб направить дело к желанному исходу? Разумеется, к Монсу.

И вот пишут мать и отец школьника – просят, чтоб переименовали их сына хотя в Мартемьянова, только чтоб имение то ему досталось; предлагают ходатаю разные гостинцы: кошельки, колпак вышитый, тканый камзол и даже тысячу рублей; «пожалуй, мой батька, что мы обещали, того изволь с нас хотя вдвое (взять)», только «невозможно ль, батюшка Виллим Иванович, сына нашего взять из школы к дому царицы-государыни, и я к тебе б вручила его за служителя; и прошу милости, чтоб дело (его о наследстве) взять в свой кабинет, секлетарю».

Устарел и одряхлел на службе при дворе один из служителей Екатерины Алексеевны, Отяев; захотелось ему вырваться в отставку; добыл он медицинское свидетельство, что-де «армейскую и гварнизонную службу служить ему трудно», но отставки нет. Хлопочет он о ней, шлет ряд писем к Монсу и наконец вкладывает в одно из них цидулку без подписи: «О котором деле до вас, моего милостиваго государя, покорное прошение мое было, и ныне чрез сие паки прошу: сотвори со мною милость, изволь доложить прошение не умедля, за что обещаю в презенте сто червонных; во уверенье же сего» и т. д.

Лев Измайлов, один из «птенцов» Великого, послан был по указу за границу китайскую; пред отъездом в дальнюю командировку Измайлову нужно было обделать кой-какие дела и, между прочим, добиться указа на деревни, сначала отнятые, потом возвращенные Петру Измайлову, одному из его братьев.

«Надеясь быть скоро отправлен, – пишет посол к нашему герою, – со слезами вас прошу напомнить милостивое ваше мне обещание, чтоб мне вечно не остаться безо всего в моем бедном несчастье. Прошу, батюшка, сотворить милость, дать указы на деревни... а что вам обещал (брат) тысячу рублей, у меня готова и моя тысяча вместе; пожалуй, отец наш, не оставь нас бедных, за что весьма останемся рабами».

И крупная цифра повторяется в трех письмах того же Измайлова, обещание презента повторяется с тою же наивностью, весьма характеричною относительно своего времени и общества.

Монс не затруднялся мешаться даже в дела духовенства и являлся усердным ходатаем за тех пастырей и архипастырей, которых постигало какое-либо бедствие, вроде неожиданно, например, знакомства с Тайной канцелярией и т. п.; подобное заступничество немца, нечего и говорить, было далеко не бескорыстное.

Так, в апреле 1722 года встряхнулась беда над архимандритом Троицко-Сергиевой обители Тихоном Писаревым.

«Был он в прошлых годах в доме суздальского архиерея

казначеем, – так доносил келейник архимандричий, – и в ту свою бытность Писарев ходил в Покровский девичь монастырь с подносами кланяться неоднократно к бывшей царице Евдокии. Называл ее Писарев царицею, писал письма к бывшему ростовскому епископу Досифею, что разстрига Демид, и он разстрига, к нему, Писареву, письма от себя писал же».

Словом, обвинение по тому времени было весьма серьезное; дело отзывалось пыткой, ссылкой, быть может, рваньем ноздрей и каторгой; все это, казалось, тем скорее должно было быть, что отец архимандрит не возмог вполне опровергнуть своего келейника. Дело затянулось с год; в это время как члены Синода, судившие первоначально Писарева, так затем и «инквизиторы» Тайной канцелярии передпросили разных лиц, замешанных по суздальскому розыску 1718–1722 годов, и составили о них выписку. Почти все они дорого поплатились за свое преступление; казалось, пречестный архимандрит не будет исключением; он и сам сознался: «В Покровском девичьем монастыре у бывшей царицы монахини Елены был дважды: руку ея целовал, видел ее в мирском платье, царицей признавал и в священнослужении, и в обществе, где имя благоверных цариц воспоминалося, – тут и ея, бывшей царицы, имя, по мнению моему, заключалось; а то мнение держал я не от вымыслу, но с простоты... Я же для почтения послал к ней свежих шук да судаков пять рыб чрез ключара Федора Пустыннага; да по присылке от нея послал

к ней два ушата карасей, наловя их в архиерейских прудах».

И при всем том столь неумолимые судьи-«инквизиторы», какими мы знаем Петра Андреевича Толстого да Андрея Ивановича Ушакова, нашли: отец-де архимандрит истязанию не подлежит, и учинить его из-под караула свободным, понеже он невинен!

Заглянем за кулисы, за канцелярские отношения и протоколы, и мы увидим, ради чего спина отца архимандрита не обагрилась кровью; ради чего не довелось ему изведать казни торги или, по меньшей мере, «теснаго нужнаго заточения» в Соловках.

Отец архимандрит имел достаточек и кой-какие связи; благодаря тому и другому он ударил челом Виллиму Ивановичу Монсу 1000 рублями, взятыми, впрочем, из монастырской казны и по его, вероятно, совету написал слезное моление о защите к Василию Петровичу Поспелову.

Это был любимейший денщик государя; он мог бы и ходатайствовать по разным делам, «улуча добрый час», мог бы и брать за это немалые «посулы», но он этого не делал. Причинами подобного бездействия в то время, когда все и вся кругом брало и обманывало, был личный характер Поспелова: это был не столько честный, сколько беззаботнейший, простодушный малый, записной охотник, весельчак и великий пьяница; он был счастлив любовью к нему государя и редко совался к нему с разными ходатайствами.

Зато он и не мешал другим ходатаям. За кружками пи-

ва и чарками водки, за своими собаками, с которыми любил на досуге возиться, Пospelов не видел разных своеобразных происков Монса; так и в деле об архимандрите Писареве, не столько радением Пospelова, сколько ловкостью Виллима Ивановича, оживленного громадным, по тому времени, презентом, приговор состоялся совершенно милостивый. Любопытно, что камер-юнкеру не довелось воспользоваться архимандричьим подносом. Деньги были взяты отцом Тихоном из монастырской казны; там скоро хватились их, и перепуганный Балк, сведав о том, писал Виллиму Ивановичу: «Объявляю вам, что троицкий (архимандрит) у меня был; вы знаете кто, и хочет, чтоб ему назад было отдано, для того, что большие у него того спрашивают, куды он то спрятал, ибо он из той суммы взял. Он зело боится и, может быть, что он скажет, и просит на две недели сроку, а вас просит для бога, чтоб скорее ему отдали, понеже ежели старики сведают, то они тотчас царю скажут. И для того и я вас прошу. Доношу вам, что у него все взято, что он имеет (за) душею и телом, и он вас просит, что ежели вы можете ему вспомоши, то помогите».

Тот не торопился помогать: жаль было расстаться с деньгами, а между тем «старцы наибольшие» сильно поприжали отца Тихона запросами недостающих денег. Положение и давшего взятку, и принявших было щекотливое: дело могло получить огласку, дойдет до государя... и в страхе при одной мысли о подобном несчастье Петр Федорович Балк

вновь пишет к дядюшке:

«Я вас для бога прошу, отпишите о деньгах, где мне их взять? А матушка (Матрена Балк) уже деньги отдала, только не знает, где на вас занять, понеже я слышал, что они уже ищут, куды он деньги спрятал, и как он так в милость пришел, что вы за него стоите? И они нечто догадываются и хотят прямо ведать, и хотят прямо объявить. Вы ведаете, что сие зело худо. Еще есть время, ежели вы ко мне указ пришлете, где мне деньги взять? Я вас прошу для бога, не мешкайте и сделайте поскорее, понеже он сам мне говорил, что ежели-де я вскоре не получу, то я и не знаю, как мне отвечать. И он говорит, что они его будут столько мучить, что он принужден будет правду сказать. И то не добро будет. Того ради сделайте поскорее для бога. Не имеет ли Шепелев здесь денег от императрицы, то вы пришлите указ... Прошу не оставьте своим письмом... как то дело происходит? Вы, дядюшка, можете разуметь, о чем я с вами говорил».

Дядюшка действительно выразумел, что дело зело не к добру, и деньги были возвращены; отец архимандрит обещал возратить их через две недели с 500 руб. прибавки. Выполнил ли он обещание – не знаем.

Известно же то, что Монс, обще с сестрой и племянником, брались перевершать и вершить дела такие, какие не решался даже чинить Сенат, «понеже учинило бы то в городе конфузию».

Ходатайства государыниного фаворита до такой степени

вызывали доверие к его силе со стороны многих персон высокого сана, что ростовский архиерей, член Святейшего Синода Юрий Дашков, по смерти Стефана Яворского, решился обратиться к Монсу со следующей, в высшей степени оригинальною, просьбою; она написана была в виде письма, но без подписи, и дошла до нас не вполне.

«Милостивой мой благодетель, – писал преосвященный Георгий, – Виллим Иванович! Понеже я вашим снисхождением обнадежен, того ради покорне прошу, не оставьте нашего прошения в забвении: первое, чтоб в Синоде быть вице-президентом; аще вам сие сделать возможно, зело бы надобно нам сей ваш труд! Ежели сего вам невозможно, то на Крутицкую епархию митрополитом, и то бы не трудно сделать, понеже ныне туда кому быть на Крутицах ищут. Того ради, извольте вспомянуть, чтоб кого иного не послали, понеже сими часы оное дело... наноситца... (а) мне в сем самая нужда, чтоб из двух их: или в Синоде, или на Крутицы весьма надобно. А что вас так трудую, и в том не зазрите, понеже сими числа готовят в доклад; а как вы не изволите опередить, то впредь трудно будет делать, ежели кому иному сделают. Пожалуйста, потрудитесь сими часы...»

Письмо отослано на двух дорогих чалых лошадаках, которые и оставлены, в виде дружеского презента, на конюшне Монса.

После подобного архипастьерского принижения пред немцем «подлой породы» было бы странно удивляться молодым

придворным, взросшим уже в тлетворном воздухе полуевропейского, полуазиатского двора; было бы странно, говорим мы, удивляться их «забежкам» и «заискиваниям» в Монсе. «Ранги», «жалованные деревни» и разные «вальготности» были слишком большим соблазном для «птенцов»; устоять против него было трудно людям, усвоившим с пороками отцов всю «нечисть», занесенную немцами-проходимцами...

Вот пред нами несколько подобных сподвижников.

Князь Андрей Черкасский, вопреки указам, отвиливает от службы, хочется ему побарствовать в своих вотчинах, и он «молит милостивого патрона подать ему руку помощи». А чтоб рука протянулась охотнее, заказывает для Монса дорожную бахраму (вероятно, для кафтанов), отыскивает и шлет в подарок прекрасного иноходца со своими запасами и проч.

Михаил Головкин, будущий кабинет-министр, в настоящее же время, 1720-е годы, резидент в Берлине, делает для Монса разные закупки, высылает ему парики и т. п. вещи.

Князь Никита Юрьевич Трубецкой, молодой человек в то время, нижайше просит Виллима Ивановича показать к нему свою милость – испросить у ее величества, «чтобы пожаловать меня... в обер-офицеры в Преображенский полк... за что я со всею нашею фамилиею вам, государю моему, служить до смерти обещаюся».¹¹

¹¹ Это тот самый князь Трубецкой, который впоследствии, в 1743 г., обще с Ушаковым и Лестоком, приговорил родную племянницу Монса, Наталью Федоровну Лопухину, рожденную Балк, к вырезанию языка, колесованию и к выставке ее трупа на колесе. Наталья Лопухина потеряла на эшафоте язык, бита нещадно

Князь Михайло Белосельский, моряк, «не восчувствовал даже себя с радости», когда узнал из письма Монса о своем производстве в новый чин. «И то признаваю, – отвечал он „батюшке“ Виллиму Ивановичу, – в эвтом моем повышении ваше одно милостивое ко мне старание явилось, без которого бы ни в два года пожалован не был бы».

С просьбами о чине обращается к Монсу Владимир Шереметев: он обижен тем, что товарищи не хотят признать за ним ранг генерал-майора без баллотировки, почему и просит, «дабы через вас внушено было государыне о моей обиде, и чтоб ея величество» и проч.

У того же величества просит похлопотать опытный интриган Петр Михайлович Бестужев-Рюмин: ему хочется «титул тайного советника», «за которую вашу, моего государя, милость, – пишет он Монсу, – доколе жив, служить во всем к вашему удовольствию буду».

Просьба честолюбивого гофмаршала митавского двора повторяется в четырех сряду письмах! С петровского времени Табель о рангах явилась привлекательной лестницей, на которую с горячностью, заслуживающею лучшей цели, поползло все служилое на Руси сословие.

Кормит и холит лошадей общего «патрона» князь Андрей Вяземский, с тою целью, разумеется, чтобы патрон «охранил, по своей милости, от всякого на него проноса пред ее

кнута и сослана в Сибирь. См. наш исторический очерк «Наталья Лопухина» в «Русском вестнике» изд. 1860 г. (Прим. автора.)

величием, так как у него, князя Вяземского, надеяния более нет, как на его милость, Виллима Ивановича». (Вяземский ведал одним из имений государыни.)

Но лучшим типом всех «сподвижников» Петра, подвизавшихся в происках и заискиваниях, служит Артемий Петрович Волынский. Молодой гвардейский солдат в 1700-х годах, он в 1715 году, в чине подполковника, был посланником в Персии, а в 1718-м, на тридцатом году от роду, был генерал-адъютантом государя и губернатором Астрахани. Волынский, бесспорно, был человеком не из дюжинных, способный, энергический, вполне обвеянный духом нового времени, эпохи преобразований России, но в то же время далеко не чуждый интриг и стремлений выкопать яму ближнему и на его разбитом счастье построить свое собственное. Тщеславный, честолюбивый, он любил интриговать и уж с этого времени стал известен за «смутника». Честолюбие было главною пружиною всех действий Волынского; желание выдвинуться вперед, сделать во что бы то ни стало блестящую карьеру руководило всеми его и хорошими, и дурными поступками. «Надобно, когда счастье идет, не только руками, но и ртом хватать и в себя глотать», – говаривал Артемий Петрович и, верный своей цели, все-таки старался иметь в сильном фаворите государыни «сердечного и наивернейшего друга и брата». И не мудрено: этот «друг и брат» спасал его от разных бед; выставял его действия в лучшем свете, делал «напамятования» о наградах и проч. Вызывалось это

радение у корыстного немца не одними комплиментами со стороны Артемья Петровича, но и разными услугами и более или менее ценными подарками; вообще найденные нами в государственном архиве письма Артемия Волынского к Монсу – материал далеко не безынтересный для характеристики типической личности будущего кабинет-министра, любопытный в то же время и для знакомства с фаворитом Екатерины Алексеевны.

Волынский приехал в Петербург в декабре 1718 года; как человек, близко знакомый с внутренним состоянием Персии и отношениями как ее, так и кавказских народов к юго-востоку России, Волынский, по мнению Петра, был очень пригоден на посту астраханского губернатора; вот почему государь требовал скорейшего его отъезда.

Мы уже видели, как тяжело было Артемью Петровичу расстаться с двором, среди которого ему, бойкому, ловкому, красивому и остроумному генерал-адъютанту, несравненно легче было пожать и чины, и награды, нежели в прикаспийских степях. Надо было, однако, покориться: пред государем отделяться от службы, и притом человеку, для него «потребному», было трудно, и вот, скрепя сердце, Волынский пишет (из Москвы) к «другу и брату»: «...дале 7 числа сего месяца (февраль 1721 года) не буду мешкать и бросаю все, поеду всеконечно... а здесь живучи, уже от страха сердце надселось... Прости, мой батюшка, друг мой Виллим Иванович, прошу вас, ежели буду жив, не оставить, а буде умру, по-

минать...». Но, готовясь принять смерть в ненавистной ему Астрахани, Волынский просит доложить государыне, что он подарил в ее можайские вотчины для завода «изрядных жеребцов».

В обещанный «термин» – 7 февраля – Волынский не выехал и еще два дня спустя «доносил» Виллиму Монсу, «только тайно», об астраханских вестях, будто идут к «Терку незванные гости, которых хотя не хочется, однако ж встречать надобно, ибо оставить нельзя, чтоб не потчивать»; жалуется, что для этого потчиванья в его распоряжении будет не более 3000 против 30 000; просит похлопотать о присылке ему войска, о поднятии в подмогу донцов, но будет ли или нет «ко мне прибавок», «но не иттить (мне) невозможно и пойду, конечно, хотя пропаду; а то причтут, что у меня матушкино сердце, которого во мне и с робятских лет не бывало». С худо скрытым недовольством явился Волынский в свой пашалык; нет ничего удивительного, что все представилось ему в самом дурном виде и, быть может, действительно дурное – он не поленился расписать докладчику государыни в самых черных красках. Судя по его письму (от 23 июня 1721 года), Астрахань была в то время пустою и совсем разоренною; стены крепости во многих местах развалились, башни были близки к падению; в пяти полках гарнизона едва набралось 2000 годных фузей,¹² «драгунских лошадей по табелю только одна, а мундиров как на драгунах, так и на

¹² Фузезя – кремневое ружье, заменившее мушкет.

солдатах ни на одном», и проч. описывалось в том же роде.

Такого рода описание делалось, разумеется, не без того, чтоб представить собственные труды затруднительнее, а результаты их блестящими. «Поистине, – восклицал Волинский, – что ни вижу, все надобно вновь делать! И такая пришла на меня напасть, что не знаю, за что приняться...» Горько жаловался Волинский, что вот-де неприятель все разорил и пограбил около Терка и гребенских казаков, «о чем как в сенате, так и в коллегии, чаю, не одну стопу бумаги измарали, но резолюции ниоткуда нет». Губернатор убедительнейше просил Монса поторопить кого следует высылкой ему подкрепления, без чего ему доводится идти против неприятеля с двумя тысячами кой-как обмундированных и вооруженных солдат да нескольких тысяч калмыков.

Письма Волинского вызывали со стороны Монса разные «дружеские благодеяния», и Артемий Петрович благодарил государыню арапом с арапкою и с двумя арапченками, а фаворита ее – лошадыю с серебряным мундштуком и турецким седлом. О своем «каторжном житье» Волинский доносил особым прошением к государыне, в котором излагал все свои нужды. «И притом вас, моего государя и друга, – писал астраханский губернатор, – прошу оное (челобитье) ея величеству наедине вручить. А прочел бы (ей) Алексей Васильевич (Макаров). Того ради извольте излучить, чтоб он тут был; а вас чрез Бога (т. е. ради Бога) прошу показать свою дружескую ко мне милость в предстательстве к ея величе-

ству».

Терские дела кончились удачно. Отряды Волынского «порубили и в полон побрали, сколько смогли, и бродили по болотам и по степям, как хотели. И так счастливо сию начатую на востоке компанию окончив, – шутит Волынский, – а шпаги из ножен не вынимал».

Из взятых трофеев Артемий Петрович побил челом Монсу «изрядным мальчиком», а Матрену Балк полпудом кофе; да и было за что дарить: стараниями Виллима Ивановича в январе 1722 года состоялся указ ехать Волынскому в Москву.

«И не знаю, – отвечал губернатор, – какое благодарение могу приписать, понеже сие выше моего ума дело... лечу... не токмо руки, но следы ног их императорскаго величества... радуюся всеподданнейше целовать!...» В ожидании чего посылал он от «простоты своего усердия» астраханской дичи: драхв, фазанов и кабаньих поросят.

На лету к вожделенной цели с Волынским случилось несчастье: не доезжая Царицына, он провалился было в полыню (февраль 1722 года) и едва спасся: замочил весь багаж, но забыл все беды и убытки (так уверял в письме к Монсу из Царыцына) при мысли о скором свидании с их императорскими величествами и с ним, сердечным братом. «Паче другова убытка, – приписывал Волынский, – зело мне жаль перуков, понеже что было все, тут же и любимые ваши два, никуда не годятся. Перуки все полиняли, только остались

черные, и те без глянца. Я, вас, моего друга и брата, прошу потрудиться два перука, тупе и около полдюжины чулков (если у вас цветных нет) сыскать. Однако ж я слышу, что и вас заставила неволя щеголять, и рубашки, уже слышу, что начали вы с манжетами носить, что за великое удивление почитаю, и вовсе не буду верить, нежели глазами моими увижу».

Извещая о своем несчастье, Волынский был уверен, что оно будет доведено до сведения государыни и, разумеется, увеличит милость ее к человеку, жертвующему жизнью, чтоб только скорее пасть к ее стопам. С не меньшею обстоятельностью Волынский просил Монса приготовить ему квартиру в слободе Немецкой, чтоб только быть ближе к Преображенскому (где жили в это время государь с государыней) «и к вам бы быть ближе».

В 1723–1724 годах Волынскому довелось оправдаться пред государем в разных астраханских его противностях: тут-то помощь Монса особенно явилась необходимою, и Монс хлопотал с обычным успехом за друга-дарителя...

Но особенно сторицею вознаградились Монсу услуги царице Прасковье Федоровне.

Читатели наши, без сомнения, помнят, как глубоко потрясена была старушка ссылкой ее любимца Василия Алексеевича Юшкова в 1723 году; судьба, однако, в лице Виллима Ивановича, дозволила ей увидеть Юшкова на свободе. Свобода была куплена 2000 рублями наличных денег (из них по-

ловину дал Юшков); кроме них царица Прасковья подарила Монсу два места под Петербургом, близ Стрельны; места эти вытягивались вдоль морского берега по тысяче сажен в длину да по сотне в ширину и с пашнею, лесом, санным покосом и всеми угодьями отошли в вечное владение Виллима Ивановича, а промеж тех мест в середине стоял двор, также подаренный ему царицей, и на том дворе было разное строение. Юшков, кроме денег, поднес своему освободителю серебряный сервиз.

Мы не перечисляем всех поборов Монса, так как к этой статье его доходов еще возвратимся; но заметим тут, что не все, имевшие нужду в Монсе, решались «утруждать» его просьбами: с течением времени и с возрастанием своей силы камер-юнкер делался разборчивее, вступался не за всякого, то есть льстился не на всякий презент, и тогда нуждающиеся в нем прибегали к посредству его родственников. Матрена Ивановна Балк, ее сын Петр Федорович, ее зять Степан Васильевич Лопухин, товарищи детства Монса – Густав Функ да доктор Брейтигам – все эти лица составляли тесный кружок довереннейших лиц Виллима Ивановича. Кружок действовал согласно, преследовал общие интересы; члены его помогали друг другу советами, указаниями, предостережениями, деньгами, всем, что от них зависело и в чем настояла нужда.

Брат и сестра Монс обставили себя при дворе как нельзя лучше; так, например, Матрена Ивановна, пользуясь боль-

шою любовью к ней государыни, в то же время действовала на Катерину Алексеевну еще чрез брата и тем охотнее брала на себя поручения разных аристократов; хлопоты эти оплачивались... Приведем два письма ее к брату; они свидетельствуют, что Матрена Ивановна никак не хотела остаться в стороне от разных поручений.

«Любезный братец, – писала она (по-немецки) к Монсу, – Петр Салтыков посылает к тебе своего слугу и просит ради бога похлопотать об его имении; его туда не пускают; сделай, пожалуйста, все, что только возможно, потому что старая императрица (т. е. царица Прасковья) хочет взять имение себе, и Олсуфьев (исполняя ее желание) посылал уже туда приказчиков, чтоб силой завладеть имением Салтыкова».

«...Князь Алексей Григорьевич Долгорукий меня просил, – писала Матрена в другом письме, – чтобы я к тебе написала о нем и просила бы тебя не оставить его и помочь ему в его делах (князю хотелось завладеть одним выморочным имением; по дружбе он успел подарить Монсу девять лошадей)... Прошу, любезный братец, помоги ему; он совершенно на тебя полагается...» и т. п.

Подобное участие к делу того и другого вельможи со стороны г-жи Балк будет понятно, если мы скажем, что Салтыков подарил ей возок, а князь Алексей Долгорукий коляску да шестерик лошадей.

Не приводя разных просительных писем к Матрене, мы укажем только на разнообразие подарков, какими ее осы-

пали: так, Долгорукие – князь Федор, княгиня Анна, также жена Василия Лукича Долгорукова, затем княгиня Черкасская, Строганов, Шафиров, княгиня Анна Голицына, дарили ее кофеем, съестными припасами, опахалом, атласом китайским, балберекон;¹³ Балкша стала брать еще с 1714 года деньгами за разные ходатайства пред государыней, с которою она, как мы видели, и тогда была довольно близка; и вот Грузинцовы, Красносельцов, капитан Альбрехт, Ржевский, царица Прасковья Ивановна, герцогиня Анна Ивановна, сама царица Прасковья Федоровна дарили ей суммы денег от 50 до 200 червонцев.

Подобным же «бескорыстным» посредником между челобитчиками и Монсом был племянник его – Петр Федорович Балк; он начал службу в Воронежском полку солдатом, за участие в баталии под Лесным сделан лейтенантом, а по взятии Эльбинга пожалован в капитаны. За «добрые поступки» переведен в лейб-гвардии лейтенанты и с 1715 года, то есть годом раньше своего дяди, «по указу, употреблен был в дворовой службе при ея величестве». Государыня постоянно была ласкова к Балку, и этот «весьма красивый и приятный молодой человек был один из довереннейших ее приближенных; она его сосватала на дочери одного из богатых чиновников своего ведомства, Палибина. Балк обручился, но, как расчетливый немец и на брак смотревший как на аферу, Балк

¹³ Балберек – возможно, от «балбера», «балберка», т. е. поплавок на сеть невода. Балбер – набор балберек на сеть. В данном случае – вид ткани.

стал торговаться о приданом, не сошелся с отцом невесты и бросил последнюю. Палибин с горечью жаловался Виллиму Монсу на „неподобный“ поступок Балка, но Виллим Иванович не помешал племяннику жениться на девице Марье Полевой, последней в роду; Монс выхлопотал молодым приказ писаться „Балк-Полевы“, был очень расположен к ним и, как истый дядюшка, зачастую помогал деньгами.

За то и Балк слепо был предан Виллиму Ивановичу; все, что ни говорилось им государыне и при дворе, о чем только ни брался он хлопотать, все делалось не иначе как по предварительному сношению с дядей. Очень часто Петр Федорович был в доле с ним относительно «презентов» просителей, так как принимал участие в хлопотах по этим прошениям. И в письмах и просьбах разных лиц к Монсу мы беспрестанно находим глубокие поклоны, которые просили Монса передать его племяннику и сестре.

Впрочем, большая доля хлопот Балка была устремлена на то, как бы побольше выпросить разных «дворов и животов» от «премилостивой матери государыни Екатерины Алексеевны». Преследуя эту цель, Петр Федорович являл необыкновенную заботливость и рядом писем штурмовал дядю, вызывая того на советы о тех или других деревнях.

«...О которых я вам, государь дядюшка, деревнях писал, есть ли надежда, что пожалует ли оныя деревни нам государыня; да о котором деле я писал до вас, а именно о Дубровском, не извольте, государь дядюшка, забыть и показать к

нему милость» и проч.

Прилагались росписи деревень; Петр Федорович рекомендовал, в каких местах просить, обозначал число дворов и проч.: «И о тех деревнях вас, государь дядюшка, прошу, чтоб вы изволили постараться, по своей милости, чтоб оныя деревни мне достались бы; пожалуй, государь дядюшка, не оставь моего прошения, да изволь оными челобитными не замешкать, чтоб эти деревни у себя не опустить», так как они были в хлебородных местах и Балк уже успел о состоянии их навести обстоятельнейшие справки.

Монс, разумеется, не упускал случая побить челом о деревнях и животах. Так, просил он у государя дворцовую волость в Козельском уезде, состоящую из двух сел и семи деревень, а в них было 423 двора; так, бил он челом об отдаче ему отписной вотчины Петра Шафирова в Пензенском уезде, Ломовской слободы, на том-де основании, что «она никому еще не отдана» и т. д.

Подобными же почти основаниями руководствовалась и сестрица его, Матрена Ивановна; прослужив в 1717–1718 годах, «полтретья года», гофмейстершею при дворе Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской, Матрена Ивановна уверяла, что «одолжилась на этой службе многими долгами», ради чего, лишь только приютилась под крылом государыни, не умедлила просить о пожаловании ей в уезде Кексгольмском Питерского погоста, которым владел князь Василий Федорович Долгорукий; да в Козельском уезде три

села с приселками и деревнями и со всеми угодьями, которыми владел думный дьяк Артамон Иванов; да в Дерптском уезде одну мызу, потому-де, что ею владели некогда коменданты города Дерпта, а муж ее был в этом городе комендантом; да несколько деревень в Украине, оставшихся от раздачи разным лицам по смерти владельца их полковника Перекрестова, и проч. Говорить ли о том, что просьбы «Modest'bi Valck», ее братца «де-Монца», ее сына и проч. им подобных иноземцев не оставались втуне. Деревни – с крестьянскими душами и животами – сотнями шли в разделку между этими исчадиями преобразовательной эпохи.

Ввиду подобных порабощений разными немками и немцами православного народа, ввиду этого наплыва новой татарщины, только не с востока, а с запада, не имел ли права вопиять народ: «Пришельцев иноверных языков щедро и благоутробно за сыновление себе восприяли и всеми благами их наградили; а христиан бедных бьючи на правезах и с податей своих гладом поморили, до основания всех раззорили и отечество наше пресловущия грады и драгия винограды, рекше святыя церкви опустошили, и что иное речи и писания неудобно извести, удобнее устном своим ограду положить, но вельми... сердце болит, видя опустошение... и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами...»

Нестерпимо было народу, зато в весельи, довольстве и счастья проводили век свой баловни счастья. Так, в 1723 году мы видим нашего героя владельцем богатых имений,

он неотлучно при дворе, в дом его идет большая дача из дворца всевозможных запасов: муки разных сортов, круп, гороху, соли, солоду, ветчины, овса, сена, дров, вина белого и красного, водки; богато убранный и еще отстраивавшийся из дворцовых, жалованных царицею материалов дом его на Мье-реке (со стороны Адмиралтейства) полон, как чаша, всяких благ; ему пожалованы также от щедрот царицы приморские дворы – между прочими на Петровском острове; на его конюшне стоят до тридцати прекрасных аргамаков и дорогих кобылиц; в его покоях прислуживает двадцать человек, и, кроме того, к его услугам всегда готовы конюхи, кучера, повара, приказчики и управляющие государыни; он ни в чем себе не отказывает, списки его покупок весьма длинны, итоги издержек, по своему времени, громадны: они доходили иногда до четырех тысяч рублей, издержанных на бархат, шелковые материи, пуховые шляпки, «перуки», башмаки, позументы, конфеты и т. п. произведения роскоши.

Среди богатства и счастья встретил счастливый фаворит Катерины Алексеевны новый, 1724 год; со стороны его друзей и знакомых раздавались льстивые поздравления да пожелания, «дабы Высший благословил (нас) сей наступающий год и впредь много лет во здравии, счастливо препроводить...»

Монс был озабочен в это время приготовлениями к величайшему торжеству своего «высокого светила».

Петр Андреевич Толстой чуть не с каждой почтой писал

к Монсу из Москвы о своих хлопотах по устройству предстоящей коронации Екатерины, спрашивал о тех или других покупках, просил советов, приказаний, инструкций; люди Монса уже отправились в Москву с его вещами: ему приготовили хоромы в селе Покровском, в доме ее величества разные лица били ему челом о «напоминаниях» государыне во время коронации, о разных милостях, словом, камер-юнкер был в апогее своего счастья, новый год весело улыбался ему, ни одной тучки не было на его горизонте... Оставляя Монса самоуслаждаться счастьем и льстить себя сладкими надеждами на предстоящие награды и отличия, обратимся к источнику его фортуны – к супруге Петра Великого.

V. Царица Екатерина Алексеевна (1717–1723 годы)

Отношения Петра к Екатерине оставались прежние: нежная заботливость, ласка, любовь со стороны Петра и шутовское выражение любви со стороны Екатерины – вот общий тон переписки их с 1717 по 1723 год.

Государь с самого начала этого времени, еще в январе 1717 года, жаловался на свою недужность, на обыкновенное бессилье да чечуй.¹⁴

Петр чувствовал, что стареет, что нравиться женщине, почти наполовину его моложе, – дело трудное, и вот ввиду этого обстоятельства, едва ли для него приятного, он чаще и чаще стал трунить и над своей фигурой, и над своими годами.

«Благодарствую за присылку: портреты, а не хари; только жаль, что стара; присланной – кто говорил – племянник, а то б мочно за сие слово наказанье учинить; также (благодарю) и за лекарство...» «Сие письмо посылаю (27 июня 1719 года), чтоб поспело позавтрее к вам к именинам вашего старика». Или: «Сожалею, что розна празднуем (годовщину Полтавской битвы), также и позавтрешний день святых апостол, – старика твоего именины и шишечки» (Петра Петровича) и т. д.

¹⁴ Чечуй – правильно «почечуй», или геморрой.

Грусть по-прежнему неминуемо сопровождала у него разлуку с женой: «...а что ты пишешь ко мне, чтоб я скорее приехал, что вам зело скучно, тому я верю; только шлюсь на доносителя, каково и мне без вас (в Спа, 1717 год)... когда отопью воды, того же дня поеду... дай бог в радости видеть вас, что от сердца желаю...»

Та же тоска разлуки томит государя пять лет спустя: «Дай боже вас видеть в радости, а без вас скучно очень». «Я бы желал, чтобы и вы... были, – приглашает Петр Екатерину в Петергоф, – ежели вам не трудно, – государь уже не приказывает, как прежде, а просит, – и лучше бы позавтрее туда прямо проехали, понеже лучше дорога, нежели от Питергофа, которая зело трудна; а пустить воду (из фонтанов) без вас не хочется...» «Хотя, слава Богу, все хорошо здесь (близ Ревеля, июль 1723 года), только без вас скучно, и для того на берегу не живу» и проч.

С обычным лаконизмом в письмах извещает Петр «сердеш-нинькаго друга» о впечатлениях, выносимых им во время беспрерывных переездов своих с места на место, в особенности в бытность свою за границей. Так, он делится замечаниями насчет виденных садов, крепостей и гаваней; великой бедности «людей подлых» (во Франции); сообщает известия о битве австрийцев с испанцами, о победе своего адмирала над шведским флотом; высказывает желания по поводу воспоминания о той или другой победе, того или другого события, словом – важное и неважное, дело и думы,

все сообщается супруге. Как хозяйке своей, он делает поручения прислать то ту, то другую вещь – портрет свой, чертеж корабля, фрукты, разные запасы; в особенности часто просит «крепиша», т. е. водки, «армитажа» (вино); поручает озаботиться о починке корабля или сделать постели на новое морское судно (пред скорым свиданьем, июль 1717 года), с английскими матрасами, «и чтоб не богаты были постели, да чистеньки»; напоминает об устройстве пирушки, ради семейного праздника или годовщины виктории.

Недужный «старик» Петр продолжал осыпать свою «Катеринушку» подарками, не столько ценными, сколько выразившими его любовь к ней и внимание. То он шлет попугаев, канареек, мартышку, разные деревья; то посылает из Брюсселя кружева, с просьбой прислать образец, какие имена или гербы в оных делать, – а та, как женщина, исполненная большого такта, просит его в ответе заказать на кружевах их общий вензель. Вслед за кружевами послан из Кале другой подарок – «карло-францу-женин»: «извольте его в призрении иметь, чтоб нужды не имел». Из ревельского дворцового сада отправлены Петром цветы да мята, что сама садила «Катеринушка». «Слава богу, – замечает при этом нежный „старик“ (1719 год), – все весело здесь; только когда на загородный двор приедешь, а тебя нет, то очень скучно...»

«И у нас (в С.-Петербурге) гулянья есть довольно, – поэтизирует в ответе „Катеринушка“ устами своего секретаря, – огород (т. е. сад) раскинулся изрядно и лучше прошлогодне-

го; дорога, что от полат, кленом и дубом едва не вся закрылась, и когда ни выду, часто сожалею, что не вместе с вами гуляю. Благодарствую, друг мой, за презент (за цветы и мяту). Мне это не дорого, что сама садила: то мне приятно, что из твоих ручек... Посылаю к вашей милости здешняго огорода фруктов... дай боже во здоровье кушать!»

Не менее нежными голубками являлись державные супруги при свидании. Вот зайдите, например, в палату к государыне. Доктор Арескин показывает ей опыты: он вытягивает из-под хрустального колокола воздух; под колоколом трепещет ласточка. «Полно, не отнимай жизни у твари безвредной! – говорит государь, – она не разбойник». «Я думаю, дети по ней в гнезде плачут», – добавляет «Катеринушка», берет ласточку и выпускает ее в окно... «Не изъявляет ли сие мягкосердия монаршаго даже до животной птички, – восклицает один из панегиристов, – кольми же паче имел Петр сожаление о человеках!..»

А между тем под воркованье голубков и одновременно с подвигами мягкосердия державных супругов идет дело царевича Алексея, а затем производятся московские и суздальские нещадные и кровавые розыски...

Воркованье со стороны «сердешнаго друга» сопровождалось гостинцами и пересыпалось обычными шутками; между гостинцами были апельсины, лимоны (ими, как мы видели, любил угощать Петра и первый друг его сердца, Анна Ивановна Монс), «крепиш с племянником» (водка), причем

предписывалось пить по малости, ради недужности любезного батюшки.

«И то правда, – отвечал Петр, – всего более пяти в день не пью, а крепisha по одной или по две, только не всегда: иное для того, что его редко. Оканчиваю, что зело скучно, что... не видимся. (Спа, 1717 год). Дай боже скорее! При окончании его (письма) пьем по одной про ваше здоровье...»

«И мы, – отвечает Екатерина, – Ивашку Хмельницкаго не оставим», т. е. выпьем про ваше здравие. Хозяюшка послала не всегда одно вино да водку: она послала клубнику и разные запасы, как-то сельди; дарила рубашки, галстуки, шлафроки, камзол; обещала – ежели б был при ней хозяин, «то б новаго шишеньку зделала бы».

«Дай боже, – восклицал в ответе тот, – чтоб пророчество твое сбылось!»

«Однако ж я чаю, – пишет Екатерина (апрель 1717 года) из Амстердама, – что вашей милости не так скучно, как нам; ибо вы всегда можете Фомин понедельник там (во Франции) сыскать, а нам здесь трудно сыскивать, понеже изволите сами знать, какие здесь люди упрямые...» Достоинo внимания, что подобного рода шутки со стороны Екатерины, как-то заявления мнимой ревности и т. п., особенно часто стали повторяться с 1717 года.

«Хотя и есть, чаю, у вас новья портомой, – пишет она в мае сего года, – однако ж и старая не забывает...»

«Друг мой, ты, чаю, описалась (о портомое), понеже у Ша-

фирова то есть, а не у меня: сама знаешь, что я не таковской, да и стар...» А «понеже во время пития вод, – отшучивался между прочим государь, – домашней забавы доктора употреблять запрещают, того ради я матресу свою отпустил к вам...»

«...А я больше мню, что вы оную (матресишку) изволили отпустить за ея болезнью, в которой она и ныне пребывает, и для леченья изволила поехать в Гагу; и не желала б я, от чего боже сохрани, чтоб и галан (любовник) той матресишки таков здоров приехал, какова она приехала».

«Дай богмне, дождавшись, – ласкается Екатерина(в 1719 году), – верно дорогим называть стариком, а ныне не признаваю и напрасно затеяно, что старик: ибо могу поставить свидетелей – старых посестрей; а надеюсь, что и вновь к такому дорогому старику с охотою сыщутся» и проч. в том же роде.

В каком отношении интересна дошедшая до нас переписка Петра с Екатериной относительно истории злополучного царевича Алексея Петровича? Есть ли в ней какие-нибудь указания на те злые наговоры мачехи, в которых винил ее сам страдалец-царевич?

В известных до сих пор цидулках Екатерины не видно подобных козней против пасынка, но зато о нем почти и не упоминает царица: а уж и это знак недобрый, являющий если не ненависть ее, то полное нерасположение к царевичу; зато своего «шишечку» Петра Петровича она постоянно называет «с. – петербургским хозяином», забывая, что в той

же столице есть первенец – сын Петра, за которым и должно бы было быть это название. Итак, если не содержание, то тон, характер переписки Петра с женой немаловажен, между прочим, и для истории Алексея: в общем тоне писем слышна необыкновенная любовь государя к жене, более и более обхватывающая его мощную душу, любовь, которая вела его на все жертвы ради любимой женщины.

И жертвы, чисто в духе Петра, закладываются с февраля месяца 1718 года.

Одна из процессий осужденных некогда важнейших лиц петровского синклита следует из Москвы в Петербург, гремя цепями и поражая встречных истерзанными своими фигурами... Впереди нее едет монарх и шлет цидулку: «Катери-нушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй! Объявляю тебе, чтоб ты тою дорогою, которою я из Новагорода ехал, отнюдь не ездила, понеже лед худ, и мы гораздо с нуждою проехали и одну ночь принуждены ночевать. Для чего я писал, двадцать верст отъехав от Новагорода, к коменданту, чтоб тебе велел подводы ставить старою дорогою. Петр. В 23 д. марта 1718 г.».

С одной стороны, страшная жестокость, с трудом оправдываемая духом времени, современным законодательством, еще труднее – государственными целями; с другой – тот же характер являет черты нежности, необыкновенной предупредительности и любви, обратившейся в глубокую и сильную страсть. Ввиду этого нельзя не признать в Петре харак-

тер полный драматизма, характер цельный, мощный, заслуживающий внимания и изучения. И с каким тактом применяется к нему «сердешный друг»!

Петр казнил сына, скасовал и скасовывает его сторонников – и вот Екатерина отводит взор его, отуманенный кровью, на картинку семейного счастья: «Прошу, батюшка мой, обороны от Пиотрушки (великий князь Петр Петрович), понеже немалую имеет он со мною за вас ссору, а имянно за то, что когда я про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит той речи, что уехал; но более любит то и радуется, – заключает Екатерина (24 июля 1718 года), – как молвишь, что здесь папа!»

Папа, бывший в это время в Ревеле, послал маме остриженные свои волосы и с этой «неприятной», как он выразался, посылкой писал, как кажется, по поводу царевича Алексея: «Что приказывала с Макаровым, что покойник нечто открыл, – когда Бог изволит вас видеть: я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего что явно явилось...»

Екатерина, однако, помнит слова одного из прежних своих патронов – Меншикова: «Слава богу, что оный крыющейся огонь (т. е. партия царевича с ее мнимыми замыслами) по Его, Сотворшаго нас, к вашему величеству человеколюбивой милости, ясно открылся, который уже ныне с помощью Божиею весьма искоренить и оное злопаление погашением истребить возможно». Екатерина видела, что возможность

осуществлена на деле, огонь потушен, и ее дело – «превысокомудрым своим рассуждением уничтожить» в Петре всякое «сумнение». И вот она рассеивает могущее быть «сумнение» – то шутками, то мнимою ревностью, то знаками заботливости и любви, то цидулками о «шишечке». На этом «шишечке» с любовью и надеждой останавливаются взоры Петра...

«Оный дорогой наш шишечка часто своего дражайшаго папа упоминает и, при помощи Божией, во свое состояние происходит и непрестанно веселится мунштированием солдат и пушечною стрельбою...» Этих забав не любил запытанный брат его Алексей: вот почему Екатерина рисует картинку, как теперешний наследник престола тешится солдатиками. Это же она повторяет и в последующих письмах; подобные известия нравятся «сердешному дружечку-старикам».

Между тем, несмотря на все нежности и предупредительность Екатерины в ее письмах к государю, все-таки видно, что с этого, именно с этого времени, т. е. около 1718 года, она охладевает к «старикам»; что-то такое делает ее, женщину с таким тактом, даже неосторожною: она, например, не торопится отвечать мужу, и Петр вынужден упрекать ее за молчание. Впрочем, самый тон упреков должен был ее успокоить насчет чувств к ней супруга; упреки были в таком роде: «Пятое... письмо пишу к тебе, а от тебя только три получил, в чем не без сумнения о тебе, для чего не пишешь. Для Бога пиши чаще».

«Уже восемь дней, как я от тебя не получил письма, чего для не без сомнения, а наипаче что не ответствуешь на письмо (мое) и поелику...» и т. д.

Но вот отправляет она к нему «крепища, (каких-то) колечек, травачки», а то вот «яблоч да орехов свежих» или «венгерскаго крепкаго и сладкаго по полудюжине и дюжину полпива, також несколько фруктов»; просит его, «батюшку» своего, чтоб тот поберечь себя изволил да почаще о здоровье своем уведомлял, «паче же всего, – так она заявляет, – самих вас вскоре и в добром здоровье видеть».

И «батюшка» доволен, счастлив и шутивно отписывается с корабля своего «Ингерманланд», от Ламеланта: «Рад бы, прося у Бога милости, что-нибудь сделать, да негде и не над кем (государь воевал в то время, в 1719 году, на Балтийском море со шведами); ты меня хотя и жалеешь, однако ж не так, понеже с 800 верст отпустила, как жена господина Тоуба (начальник неприятельской эскадры), которая его со всем флотом так спрятала, что не только его видим, но мало и слышим, ибо в полуторе мили только от Стокгольма стоит за кастилем Вакесгольмом и всеми батареями». Государь прилагал реляцию адмирала Апраксина, опустошавшего в это время берега Швеции; из приложения Екатерина могла узнать, как «адмирал наш едва не всю Швецию растлил своим великим спираном» (копьем).

«Всепокорно прошу вашу милость, – отвечала супруга, – дабы... писаниями своими оставлять меня не изволили, по-

неже в нынешнее с вами разлучение есть не без скуки, и только то и радости, что ваши писания; ибо и в помянутом своем (письме) изволите жаловать, что я жалею вас спустя уже 800 верст. Это может быть правда! Таково-то мне от вас! Да и я имею, – шутила далее Катерина, – от некоторых ведомости, будто королева швецкая желает с вами в любви быть; в том та не без сумнения. А к тому же заподлинно признаваем, как и сами изволили написать о поступках господина адмирала, что он над всею Швециею учинил. Этакста господин адмирал под такие уже толь немалые лета да какое счастье получил, чего из молодых лет небыло! Для бога прошу вашу милость – одного его сюда не отпускать, а извольте с собою вместе привести».

Петр счастлив, он не сердится за молчанье, он шлет ей взаимно-любезные презенты: «редьку да бутылку вентерского», а иногда вина бургонского бутылок семь, или красного дюжину, и все это, разумеется, с обычным пожеланьем: «Дай Боже нам здорово пить». Вино сменялось десятком бочонков сельдей «гораздо хороших и свежих»; из них только один бочонок государь оставил у себя, а девять послал жене...

В персидском походе то же внимание: беспрестанно обгоняя ее на обратном пути в Россию, государь то шлет «новины – звено лососи», то просит свою государыню императрицу «не подосадовать», что замешкал присылкой ей конвоя; окружает ее заботами о спокойном совершении путешествия, указывает, какую ехать дорогою, и все это с внимани-

ем и нежностью; повелительного тона не слышно уже ни в одной строчке: напротив, Петр просит жену «не досадовать», «не гневаться» на него!

Любовь, дошедшая до последней степени, закрепляется со стороны государя весьма важными действиями: так, в начале 1722 года обнародован им устав о наследовании престола. В этом любопытном документе вспоминал Петр об авесаломской злости царевича Алексея, строго порицал «старый недобрый обычай» – большому сыну наследство давать; удивлялся, из-за чего этот обычай людьми был так затвержден, между тем как по рассуждению «умных родителей» делались ему частые отмены, что-де видно и из священной, и из светской истории. Государь приводил примеры, утверждал, что в таком же рассуждении в 1711 году было им приказано, чтоб партикулярные лица отдавали бы недвижимые имения одному своему сыну – достойнейшему, хотя бы и меньшому; а сделано это было для того, чтоб «партикулярные дома не приходили от недостойных наследников в разорение». «Кольми же паче, – гласил составитель устава, – должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства!» Это попечение выразилось в уставе: от воли-де государя зависит определение наследства; кому он захочет, тому и завещает престол. «Дети и потомки», таким образом, по мнению преобразователя, «не впадут в злость авесаломскую: они будут иметь на себе эту узду – устав».

Вся Россия должна была учинить присягу, что не отсту-

пится от воли монарха: она признает наследником того, кого он похочет ей дать, кого он ей завещает. Устав был не что иное, как переходная мера к объявлению Катерины преемницей державы: ее малютки «шишечки» «Петрушеньки» не было уже на свете.

В церквах у присяг стояли капитаны и разные чины воинские, по городам разосланы были солдаты. За «благополучным и изрядным принесением присяг» наблюдал ревностнейший из «птенцов» Петра, Павел Иванович Ягужинский.

Россия присягнула.

Но ни солдаты и капитаны, ни страх истязаний и каторги не зажали рты многим из тех, которые не считали вслед за Петром старых обычаев недобрыми и вредными. «Наш император живет... неподобно... – говорил народ, – мы присягали о наследствии престола всероссийского, а именно им не объявлено, кого учинить (наследником); а прежние цари всегда прямо наследниками чинили и всенародно публиковали; а то кому присягаем— не знаем! Такая присяга по тех мест, пока император сам жив, и присягаем-то мы ему лукавым сердцем».

Нарушение старинного обычая, исполнение которого всегда служило к спокойствию страны и хоть в выборе наследника устраняло произвол государя, вызвало в народе резкие суждения; оно усилило общий ропот и недовольство.

Народ и солдатство видели, что государь решительно хочет упрочить за своей супругой место на российском престо-

ле, и в полках слышались такого рода укоризны: «Государь царицу нынешнюю взял не из большого шляхетства, а прежнюю царицу бог знает куда девал!»

В эти-то годы, когда царице не из высокого шляхетства расточались государем знаки самой пылкой страсти, когда ради ее он нарушал стариннейшие обычаи, которых не дерзнул даже нарушить его прототип Иван Васильевич Грозный, – в эти годы «Катерина не из шляхетства», как мы видели, дала полную мочь и силу красавцу камер-юнкеру. Виллим Иванович не встречал уже себе ни в чем отказу. И немудрено...

Здоровье державного супруга Екатерины Алексеевны было плохо. Как видно из его же цидулок, за пять, за шесть лет до своей смерти Петр редко расставался с лекарствами. Блюментросту, Арескину и другим придворным медикам была довольно трудная работа с больным, так как пациент никак не мог выдерживать строгой диеты. Больным возвращался государь и из персидского похода; «птенцы» в заботах о его здоровье выслали навстречу барона Бера.

«Барон обнадеживает весьма, – писал Ягужинский, – что его лекарство действительно будет, которое он не токмо на собственную похвалу полагает, но предает сверх того на экзаминацию медиков. Дай всевышний боже, чтоб оный его арканум к содержанию многолетно вашего величества здравия служил».

А подле больного Петра – еще блестящее, еще эффектнее

наружность полной, высокой, вполне еще цветущей Екатерины Алексеевны.

Благодаря современным живописным портретам с 1716 по 1924 год она как живая подымается в нашем воображении.

Вот она – то в дорогом серебряной материи платье, то в атласном, в оранжевом, то в красном великолепнейшем костюме, в том самом, в котором встречала она день торжества Ништадтского мира; роскошная черная коса убрана со вкусом; на алых полных губах играет приятная улыбка; черные глаза блестят огнем, горят страстью; нос слегка приподнятый, выпуклые тонкорозового цвета ноздри, высоко поднятые брови, полные щеки, горящие румянцем, полный подбородок, нежная белизна шеи, плеч, высоко поднятой груди – все вместе, если это было так в действительности, как изображено на портретах, делало из Екатерины еще в 1720-х годах женщину блестящей наружности.

Печалуясь в цидулках к мужу на постоянную почти с ним разлуку, Екатерина, как мы видели, выражала эту печаль в форме шутки, среди разных прибауток и балагурства: дело в том, что по характеру своему она не была способна всецело отдаться одному человеку, тосковать, терзаться, серьезно ревновать его; притом и набегавшая тоска рассеивалась интимным другом Виллимом Монсом – Монсом с его фамилией.

Но неужели не нашлось ни одного голоса, который бы в ту

пору не шепнул суровому и ревнивому монарху, что-де один из камер-юнкеров его супруги необыкновенною властью, своим вмешательством в важнейшие дела по разным судебным и правительственным учреждениям дает пищу неблагоприятным толкам, бросает тень на его «сердешинькаго друга»?

Такой голос, казалось, всего скорее должен был раздаться со стороны «птенцов» государя; но «птенцы» не только молчали, но ползали пред фаворитом: они нуждались в нем, нуждались для ходатайства пред «премилосердной государыней», короче – им было невыгодно открывать глаза «старик-батюшке». Довольно сказать, что князь Меншиков, этот сильнейший из «птенцов» Петра, держался в это время только заступничеством Катерины, то есть – Монса. И это он понимал, лучше сказать – об этом он радел беспрестанно.

Меншиков в 1722–1723 годах был обвиняем в разных злоупотреблениях, в превышении своей власти, в захвате частной и казенной собственности и т. п. преступлениях, которые так были велики, что их бы не искупили все прежние заслуги «Алексашки» пред грозным монархом. Он уже в немилости, о его неправдах производят следствие, ему грозит не только опала – нет, даже казнь, – и он спешит за помощью к Монсу и его сестре. Скупой, гордый и тщеславный, князь не стыдился делать им подарки: так, например, он подарил Монсу лошадь с полным убором – подарки, правда, не цен-

ные, но достаточно громоздкие для того, чтоб судить о его трусости. В 1723 году племянник Монса, Петр Балк, женился на Полевой; свадьба была играна в Москве и притом в чертогах Меншикова. Князь сам предложил их к услугам Монса и, мало того, забывая обычную свою скупость, на свой счет угощал многочисленных гостей своих «патронов». Труд и издержки не пропали.

Виллим и сестра его похлопотали об опальном пред «премилостивою матерью». Та неотступно просила государя о прощении Меншикова. «Если, Катенька, – сказал Петр, – он не исправится, то быть ему без головы. Я для тебя его на первый раз прощаю».

«Его императорское величество и ея императорское величество, – поспешила известить Меншикова знакомая нам Матрена Ивановна, – паки к вам милостивы, о чем паки истинно всесердечною радостью радуюсь и желаю всегда вашей светлости... получить милость от их величеств».

Петр ни в чем не может отказать «Катеринушке»; та, в свою очередь, не имеет твердости устоять против просьб своего камер-юнкера. К прежним фактам приведем еще один, впрочем, не последний.

При Екатерине состоял камер-пажом Павлов; молодой человек, гулливый, дерзкий, он только и держался милостью Монса, милостью, как мы видели, закупленной золотыми часами и т. п. подарками. Однажды Павлов жестоко избил, без сомнения в пьяном виде, одного из придворных чиновников.

Избиенный взмолился об удовлетворении за обиду, он был прав – гуляка и буян кругом виноват; беспутство пажа превзошло терпенье Екатерины, и по ее просьбе государь приказал выписать буяна в армию в солдаты. Казалось, дело на этом и кончилось, но Павлов нашел спасителя: то был могущественный Монс.

«Всенижайше ваше величество прошу, – писал камер-юнкер, – о всемилостивейшем прощении камер-пажа Павлова, понеже уведомился я, что ваше величество высокоблаготволили назначить онаго в солдаты. И ежели оное вашего величества изволение непревратно, покорнейше всемилостивейшую государыню прошу пожаловать онаго сержантом от двора отпустить. Буде же той милости не изволите с ним учинить, покорнейше прошу оное вашего величества изволение до благополучнаго прощения его величества отменить. Вторично всемилостивейшую государыню прошу, чтоб для беднаго прощения моего изволили учинить с ним милость, в чем на великодушие вашего величества имею надежду».

Содержание просьбы, лучше сказать, повод, ее вызвавший, маловажен; но тон просьбы, та уверенность, которая так и слышится в каждом слове челобитья, весьма знаменательны. Говорить ли, что просьба была принята?!

Павлов не только оставлен при дворе, но даже получил награду в год полнейшего торжества Екатерины Алексеевны и одновременного с ним возвеличения Виллима Монса!

VI. Коронация и камергерство (1724 год)

В конце 1723 года Петербург и Москва были очень заняты толками и приготовлениями высочайшего двора к предстоящей коронации Екатерины.

Один из усерднейших ее сторонников, Петр Андреевич Толстой, ввиду новых наград и отличий, уже в достаточном числе пожатых им за изловление, допросы и истязания царевича Алексея Петровича, – этот самый Толстой отправлен в Москву в качестве главного руководителя всеми приготовлениями. Он заказывал корону и разные уборы для императрицы; под его наблюдением шили ей епанчу с гербами, обшивали дорогими ливреями придворные чины: пажей, гайдуков, трубачей, валторнистов; обивали в Грановитой и в Столовой палатах стены, полы, лестницы; вышивали вензеля государыни на всех уборах, воздвигались триумфальные ворота, производились закупки разных запасов и т. п.

По всем возникавшим вопросам в случаях сомнительных П. А. Толстой обращался к Монсу, и эта переписка знакомит нас с приготовлениями к небывалому в Российском государстве торжеству: коронованию женщины. Между деловой перепиской о делании ливрей, о цвете сукон для них, о величине гербов собеседники обменивались любезностями.

Монс передавал Толстому уверенность государыни, что тот ничего не упустит из виду. «За такую ея величества высокую милость, – отвечал старый придворный, – всеподданнейше благодарствую, и воистинно со всяким моим прилежным попечением, презря мою болезнь, труждаюсь, чтоб во всем изволении ея величества исполнить».

Петр Андреевич «труждался» с необыкновенным усердием и осмотрительностью; ничего-то он не упускал из виду: он не делал, например, гербов на епанчу Екатерины либо лифрей на ее музыкантов без того, чтобы не спросить, какой ей нравится фасон, цвет, «сколь богато устроить»; предъявлял свое «слабое мнение» о необходимости прислать к нему, вместо модели, нескольких из музыкантов для обшивки их нарядами, и как соизволить гербы шить, и выбирать ли из столовой палаты рундуки против того, как это сделано в Грановитой? «А Грановитая палата без рундуков, – замечал Толстой, – зело лучше и веселее стала». Надписи и те посылались к Монсу на предварительное его рассмотрение или доклад государыне; к нему шли рапорты от разных помощников Толстого о свозе из городов в Москву всяких запасов для ожидаемого там двора. «Для господ Бога, – просил Толстой Монса, – всему вышеписанному определение учинить и меня уведомить не умедлите о всем обстоятельно».

Ввиду предстоящего торжества Екатерины счастливого камер-юнкера ее засыпали просьбами, поручениями, письмами с «напамятованиями» по делам, наконец, цидулками с

извещениями о подарках.

Так, герцогиня Анна Ивановна чрез своего гофмаршала Бестужева просила Монса известить ее о «платье, каким образом для своего выезда (в день коронавания Екатерины) изволила бы сделать; понеже ея высочество, – писал гофмаршал, – изволила слышать, что при коронации... при дворе платья будут особым манером, и вы, мой государь, о том уведомьте подлинно и с первою почтою ко мне отпишите».

Вот аристократка и богачка Анна Шереметева просит Монса «предстательствовать» пред государыней об освобождении из тайников Преображенских людей ее; «а те мои люди сидят в исцовых делах, – пишет Шереметева, – и лакеи, возницы побраны; и многое время уже держатся, в чем я имею заключение в доме своем, что выехать мне из двора не с кем; понеже ездила я к обедне до церкви божией, и в то время последняго лакея от кареты моей взяли... о сем прошу вашего милостиваго предстательства».

О предстательстве же просил Арцыбушев, правитель вотчинной канцелярии императрицы: рядом писем в начале 1724 года он вымаливал у Монса исходатайствовать о даче ему жалованья, «так как в Санкт-Петербурхе без денег и без хлеба житие трудное»; а в то же время убогий правитель щедрою рукою выдавал из дворцовых амбаров в дом «милостивца» рожь, крупу, горох, снитков, овес, сено – и выдавалось то в избытке, сверх окладу: это была своего рода взятка.

А вот как приглашает к себе Виллима Ивановича некто

Иван Воронин: «Уповаю или могу хотя чрез многой труд я вашу милость к себе получить, того ради милости у тебя, моего государя, покорно прошу: помилуй, помилуй, не оставь убогаго просьбы... Приезжал (я) до вашей милости персонально просить... (но) в доме вас не получил. В надеянии вашего милосердия униженно кланяюсь».

Этот униженный поклон отдавался, кажется, одним из свойственников Ворониных, сосланных по суздальскому розыску. Грядущее празднество вообще давало надежду родственникам опальных по делу царевича Алексея на милостивое прощение; но для получения его надо иметь ходатая: его видели в Монсе.

Так, Чернышев особенно хлопотал, при его посредстве, о возвращении из ссылки княгини Троекуровой, столь нещадно избитой батогами в 1718 году; просил о чем-то таинственно князь Николай Щербатов, без сомнения о своих родственниках, также пострадавших в то страдное время; просил и Степан Лопухин... но нет, у того были свои заботы: писал он Виллиму Ивановичу, что-де осматривает он, да холит лошадей его, своего «дядюшки и отца», тех самых лошадей, которых «присовокупил» дядюшка в бытность свою в Астрахани в 1722 году от Волынского. Хлопочет Степан Васильевич Лопухин о покупке позументов и других гардеробных принадлежностей опять-таки для дядюшки. Кажется, все заботы такие невинные, столь бескорыстные, но тут же в письме вложена цидулка другого почерка и без подписи: «В Мос-

ковском уезде сельцо Суханово с деревнями – 25 дворов, в Суздальском уезде село Слумово с деревнями – 300 дворов». Цидулка красноречиво свидетельствовала, что и зять камер-юнкера не хотел упустить благоприятного случая поживиться от щедрот государыни.

Соблазн вообще так был велик, с коронацией соединилось столько надежд на милости, что даже честный воин фельд-маршал князь Михаил Михайлович Голицын и тот не хотел остаться вдали от места торжества. «Уведомился я, – писал князь к Виллиму Монсу из Ахтырки, – уведомился, якобы их величества в Москву изволят прибыть вскорости: того ради вас, моего государя, прошу, дабы для такого великаго дела, которое между всей Европиею над ея величеством... прославитца, излуча час доложить, чтоб хотя на малое время был (я) уволен в Москву... и какой на доклад изволите получить указ, прошу приказать меня уведомить».

Подарки, между тем, идут да идут Монсу; у него правило – ничем не брезгать. Иван Толстой прислал собаку «для веселия»; синбирский помещик Суровцев подарил нарочно приведенную из своей вотчины лошадь и дарит на том основании, что она «будет сходна» с одной из лошадей Монса. Михаил Головкин, посол в Берлине, при посредстве канцлера, отца своего, презентовал Виллиму Ивановичу иноходца, так как «его милость до таких лошадей охотник». Князь Алексей Долгоруков, как мы видели, одолжил брата и сестру Монс двумя шестериками лошадей и коляской.

Причина столь щедрого одолжения состояла в следующем: некто иноземец Стельс владел, по указу государя, несколькими дворцовыми деревнями, приписанными к пороховым его заводам; по смерти Стельса не осталось прямых наследников, тем не менее шурин его Марли продал деревни князю Долгорукову; обер-фискал протестовал против незаконной продажи, и вот покупатель спешил сделать ее законною щедрыми «посулами»; Сенат позамешкался, решения не положил – и дело, стараниями Монса, скоро очутилось в Вотчинной коллегии.

По-видимому, скромнее других подарков была посылочка из Вологды иноземки-негоциантки Готман. Она хлопотала о жалованной грамоте на вольную покупку в Вологде и в других городах пеньки и другого товара, с тем чтобы отпустить его чрез архангельский порт за границу. Отпуск товаров за границу, в силу указов Петра, должен был производиться чрез петербургский порт: вот почему просьбу Готман трудно было удовлетворить; зная это, она для лучшего «старательства» послала к высокой милости Монса рыжечков мельничих в сулеечке. «Соблаговолите принять, – заключила она свою просьбу, – и кушать на здоровье, и на сию мою малую посылку подивить не извольте». Не много нужно догадливости, чтоб понять, что «мельнички» были не что другое, как голландские червонцы.

Они подошли кстати: среди приготовлений к коронации Екатерины Виллим Иванович развлекался постройкой об-

ширного, богатого, комфортабельного дома – на месте дома, купленного им у доктора Поликола, находившегося на правом берегу (к стороне Адмиралтейства) речки Мьи (Мойки). Придворный стряпчий Маслов принял на себя хлопоты о найме и заключении контракта с рабочими, о покупке материалов, наблюдении за работами и проч.; из ведомства Кабинета ее величества на постройку дома камер-юнкера отпустили даром плитняку (12 куб. сажень), кирпичу (150 тыс.), извести (650 боч.) и прочего материалу; обер-полицмейстер Девиер хлопотал, между тем, по делу покупки Монсом другого двора, на Васильевском острове, у флотского поручика Арсеньева. Государевы указы, однако, строго-настрого запрещали – ничьих дворов на Васильевском острове, кроме излишних против указного числа, ни под каким видом не продавать и не закладывать, доколе тот остров «не удовольствуется строением». Двор поручика не был в числе излишних, покупка не состоялась, и, извещая Монса о неудаче хлопот, Девиер тут же в письме осторожно вложил безымянную, своей, впрочем, руки, цидулку: «Объявляю вашей милости: имею у себя две лошади – коня да рысучаю лошадь, и ежели которая вам будет угодна, изволь ко мне отписать, куда ее к вашей милости прислать».

Как богат был в это время Монс от всевозможных презентов, можно судить по тем вещам, какие наполняли его комнаты: так, у него была статуйка изрядной величины из чистого золота, были часы, одна починка которых стоила 400

рублей, и многие другие предметы роскоши. Из недвижимых имений за ним были благоприобретенные дворы со строениями в Петербурге, дом материнский в Москве, другой дом там же, купленный для него государыней у Нарышкина, близ двора Салтыкова; двор со строением, с землею и угодьями близ Стрельны – подарок царицы Прасковьи; земля в Лифляндии, как досталась ему, неизвестно; села с деревнями, выпрошенные в разное время и в разных уездах чрез государыню; ему же подарила царевна Прасковья Ивановна за ходатайства по ее домовым распорядкам, кроме других «гостинцов», громаднейшее имение – село Оршу с деревнями и 1500 жителей обоего пола в Пусторжевском уезде; в конце 1723 года туда уже послан от Монса один из придворных чиновников, который именем императрицы должен был собрать об имении самые обстоятельные сведения. Царевна вследствие разных обстоятельств сильно нуждалась в таком могучем патроне, каким был для нее монс: вот почему она так щедро его одаривала к несчастью Виллима ивановича, встретились какие-то формальности, вследствие которых он не мог сделаться владельцем орши; тогда царевна Прасковья ивановна вошла с ним в сделку: имение осталось за ней, но оброк с крестьян предоставлялся в распоряжение ее «милостивца, заступника и ходатая».

В то время как Виллим иванович часы своего досуга отдавал приятным для него хлопотам, посмотрим, что делали в это время Петр со «свет-катеринушкой»; как проходила

жизнь всего двора, какие события разнообразили обычное препровождение времени.

Обычное препровождение времени петра состояло в его занятиях государственными делами, совещаниях в Сенате, разъездах в кронштадт, в петергоф, ораниенбаум, царское село; затем свободные часы пролетали в пирушках, в посещении немецких «комедий», в танцевальных ассамблеях, в маскарадах, в наездах на дома вельмож с «беспокойною братиею», т. е. «всепьяннейшим и сумасброднейшим собором»; наконец, время проходило в устройстве фейерверков и разных шутовских процессий, хотя бы и по поводу погребения того или другого лица, состоявшего при дворе. Петр, как известно, был необыкновенно изобретателен на подобные церемонии.

Полюбуйтесь на него и на его «птенцов» в их забавах 1724 года.

Вот государь опаивает худенького, невзрачного и больно недалекого герцога Голштинского; опаивает-то он его не в первый и не в последний раз, но в настоящую пирушку эта спойка производится с особою целью: петру почему-то хочется пристрастить герцога к венгерскому и отучить от мольвейна. С пирушек и пьянственных загулов двор ездил в комедию; спектакли тянулись вяло, скучно, так что государь решительно приказал, чтобы комедии имели не более трех действий и не заключали бы в себе никаких любовных интриг; но и в этом виде они всетаки не развлекали государя,

так что, сидя в ложе с семейством, Петр нередко развлекался только шутками над своим поваром.

Гораздо интереснее была комедия, сочиненная самим Петром для забавы себя и своего двора. Главным сюжетом потехи был труп государева карлика; похоронная процессия его была обставлена следующим образом: впереди шли попарно тридцать певчих, все маленькие мальчики; за ними следовал в полном облачении крошечный поп; затем шесть крошечных лошадей в черных пополах, ведомые маленькими пажамы, везли сани особого устройства; на санях лежал труп карлика в гробу, под бархатным покровом. Маршал с маршальским жезлом и множество толстых, безобразных, большеголовых карлов и карлиц вытягивались в длинной процессии в траурных костюмах, причем карлицы, игравшие роли «первых траурных дам», были под вуалями. Для контраста и большего эффекта по бокам процессии шли громаднейшего роста гренадеры и гайдуки с факелами.

Как ни обычны были в тогдашнее время потехи высоких персон над личностью низшего, но при виде этого зрелища заезжие немцы невольно говорили: «Такой странной процессии едва ли где-нибудь придется увидеть, кроме как в России!» Зато здесь их было множество.

Так, в первых числах февраля 1724 года в течение нескольких дней по улицам Петербурга прогуливались и разъезжали голландские матросы, индийские брамины, павианы, арлекины, французские поселяне и поселянки и т. п.

лица: то были замаскированные государь, государыня, весь Сенат, знатнейшие дамы и девицы, генеральс-адъютанты, денщики и разные придворные чины. Члены разных коллегий и Сената в эти дни официального шутовства нигде, даже на похоронах, не смели скидывать масок и шутовских нарядов; в них они являлись на службу в Сенат и в коллегии.

«Мне кажется это неприличным, – замечает по этому случаю современник, – тем более, что многие лица наряжены были так, как вовсе не подобает старикам, судьям и советникам. Не покориться же воле государя было не совсем благоразумно; тому были ежедневные доказательства, и еще во время февральских потех 1724 года один поручик, состоявший при дворе, был жестоко высечен; преступление его состояло в нарушении какого-то маскарадного постановления».

Героями маскарадных потех были «всепьяннейшие и сумасброднейшие члены конклавии князь-папы»; синклит его доходил до восьмидесяти человек и состоял из князей, бояр, вообще потомков знатнейших фамилий; тут же были и простолюдины. Кривляньями и забавными выходками они должны были развеселять императора, когда он бывал не в духе.

В эти же месяцы двор был очень занят толками о крупном воровстве одного придворного брильянтика Рокентина. Мы встречали его уже в числе искателей милостей Монса, видели из его челобитья, как он метался, не зная, куда

даться от теснивших его кредиторов. Защита Монса, видно, не укрыла его от них, и он наконец додумался до средства весьма рискованного.

Князь Меншиков дал ему, как лучшему брильянтику, множество драгоценных камней, ценою тысяч на сто рублей, для сделания из них застежки для мантии императрицы. Князь Александр Данилович хотел презентовать застежку Екатерине при ее коронации. Вдруг Рокентин объявляет, что какие-то пять человек, назвавшись посланными князя Меншикова, обманом затащили его за город, отняли драгоценный убор, раздели его, грозили удавить, если тот будет кричать, и, наконец, избитого и связанного бросили в лесу. Все это оказалось выдумкою самого ювелира.

Скоро заподозренный Рокентин был арестован, и во дворце государя, в высочайшем присутствии, целый час болтался на вывороченных назад руках на виске или дыбе. Государь, лично занявшись допросом, убеждал его сознаться; давал слово, что в случае раскаянья с ним ничего не будет дурного и даже, чтоб лучше вырвать у него признание, приказал при нем бить кнутом другого преступника. Но и это оригинальное средство привлекать к раскаянью не достигло своей цели, так что государь приказал дать Рокентину двадцать пять ударов. Но ни в этот раз, ни на следующей пытке, о которой государь весьма весело и «милостиво» рассказывал герцогу Голштинскому, ни на третьей виске Рокентин ни в чем не сознавался. Наконец, только убеждения суперинтенден-

та вызвали вора на откровенность. Он повинился, что сам украл брильянты и зарыл их на дворе своего дома в куче песку. Так как суперинтендент добился признания только тем, что обещал вору прощение, то Рокентин и был освобожден; но недели две спустя опять взят в полицию, допрашиван по тому же делу и по другим поступившим на него жалобам; наконец, после полного сознания, он был жестоко истязан кнутом, заклеямен и сослан в Сибирь. «Не будь он иностранец, его бы казнили смертью», – так говорили современники.

Впрочем, двор не лишен был и этого рода зрелища: утром 24 января 1724 года совершены были казни обер-фискала Нестерова и его трех товарищей-фискалов, обвиненных в страшнейшем взяточничестве. Казни были совершены на Васильевском острове, против здания коллегий, что ныне здание С.-Петербургского университета. Под высокой виселицей, на которой так недавно еще висел князь Матвей Гагарин, устроили эшафот; позади его возвышались четыре высокие шеста с колесами, спицы которых на пол-аршина были обиты железом. Шесты эти назначались для взоткнутия голов преступников, когда тела их будут привязаны к колесам.

Когда декорации были готовы, стеклась публика; большую часть ее составляли канцелярские и приказные чиновники, получившие строжайшее повеление непременно быть при казни; государь с множеством вельмож смотрел из окон Ревизион-коллегии.

Все три старца-фискала один за другим мужественно сло-

жили головы на плахе.

Мучительнее всех была казнь Нестерова. Его заживо колесовали: раздробили ему сперва одну руку, потом ногу, потом другую руку и другую ногу. После того к нему подошел один из священников и стал его уговаривать, чтоб он сознался в своей вине; то же самое, от имени императора, сделал и майор Мамонов; государь обещал в таком случае оказать милость, т. е. немедленно отрубить голову. Но обер-фискал с твердостью отвечал, что все уже высказал, что знал, и затем, как и до колесованья, не произнес более ни слова. Наконец его, все еще живого, повлекли к тому месту, где отрублены были головы трем другим, положили лицом в их кровь и также обезглавили.

Девять человек получили каждый по пятидесяти ударов кнутом; четверым из них щипцами вырвали ноздри и т. д.

Весь этот кровавый спектакль был явлением обычным; с ним свыклись и пришлые немцы, свыклись до того, что, например, Берхгольц, бесстрастно записавши подробности курьезного зрелища, сейчас же внес в дневник заметку о погоде.

Был ли при сказании взяточников наш смелый взяточник-любитель, Виллим Иванович?

Едва ли, так как государыня не изволила присутствовать; он, зная о казни, толковал, разумеется, о правосудии великого монарха и нисколько не думал, что и он недалек от такой же катастрофы. Да и мог ли, имел ли он время ду-

мать об этом? Ему все так радостно улыбается, его с такой любовью осыпают любезностями, предлагают услуги и дорогие презенты; во всей аристократии, среди всех наизыснейших персон мужского и женского пола он не имеет врагов, да и не может их иметь: так всем он нужен, все в нем ищут ходатая, заступника, челобитчика, милостивца по всем правым и неправым, честным и нечестным делам. Ему ли, наконец, счастливому фавориту, ввиду полнейшего торжества «премилостивой монархини» задумываться над трагической смертью русских взяточников!

Торжество близко: с первых же чисел февраля 1724 года придворные чиновники и служители отправились в Москву; в последних числах сего месяца «отправили» дочерей царицы Прасковьи герцогиню Мекленбургскую Катерину Ивановну и царевну Прасковью Ивановну; приехала из Митавы герцогиня Курляндская Анна Ивановна с небольшою свитою, среди которой был и камер-юнкер Бирон; не замедлил с отъездом герцог Голштинский; наконец, выехали и государь с государыней: они отправились в Олонец, с тем чтобы проехать оттуда в Москву.

27 февраля 1724 года все съехались в первопрестольную столицу.

С приездом в Москву весь двор стал нетерпеливо ждать дня коронации. В кремлевских палатах ежедневно толкались придворные, дивившиеся короне императрицы: она была сделана с большим изяществом, осыпана дорогими каме-

нями; осматривали разные старинные короны и драгоценности, как-то: сосуды и тому подобные дары иноземных посольств московским царям.

Голштинский герцог со своим двориком с особенным любопытством расспрашивал то Монса, то сестру его: когда именно предполагается коронация? Но ничего не было известно положительно, так как большие приготовления разных принадлежностей торжества отсрочивали вожаденный день.

И тут, среди этих приготовлений, Петр заявил свой своеобразный взгляд на личные права каждого человека: частная собственность, по мнению Петра, всецело принадлежала государю.

На основании этого убеждения отдан был приказ, чтоб все иностранные и русские купцы присылали к князю Меншикову своих лошадей; князю поручено было выбрать из них самых лучших шестьдесят лошадей для лейб-гвардии (роты кавалергардов) на время коронации. Некоторые купцы должны были дать от четырех до шести лошадей, а у других собственно для себя не осталось ни одной.

Все придворные с необыкновенною озабоченностью толковали об уборах, о том, кто поведет государыню на трон и с трона, как расставлены будут обеденные столы и рассажены присутствующие, будут ли приглашены иностранные министры, какие будут робы на дамах, привезут ли из Петербурга великого князя, сына злополучного царевича Алексея; сло-

вом, толкам, пересудам, новостям не было конца, пока, наконец, 5 мая 1724 года все это не покрылось трубными звуками герольдов.

Москва узнала, что коронавание государыни императрицы Екатерины Алексеевны будет в четверг, 7 мая.

Мы не станем передавать подробности этого дня, быть может, наисчастливейшего и, без сомнения, наиторжественнейшего в жизни бывшей шведской пленницы Марты Сковоронской, отныне державною волею Петра коронованной государыни императрицы Всероссийской Екатерины Алексеевны.

Не станем рассказывать о церемониальном шествии всех сановников с разными регалиями в церковь, о костюмах действующих лиц, об убранстве кремлевских палат, об общем виде войска и народа, громаднейшими толпами наводнивших кремлевскую площадь и улицы, прилегавшие к Кремлю; не поведем читателей наших в собор, не умилимся при виде нескольких слезинок, скатившихся по лицу коленопреклоненной Екатерины, когда император возложил корону на ее голову; не останемся и на обеде, на котором недурно было бы полюбоваться на ловкость, с которою служивали императрице ее камер-юнкеры Монс и Балк, – а предложим охотникам до высокоторжественных празднеств развернуть «Деяния Петра» – многотомный труд Голикова или дневник Берхгольца и усладиться чтением длинейших описаний этого дня.

«Ты, о Россия! – вещал в этот день Феофан Прокопович, – не засвидетельствуешь ли о богомвенчанной императрице твоей, что прочиим разделенные дары (т. е. добродетели и достоинства Семирамиды вавилонской, Тамиры скифской, Пенфесилеи амазонской, Елены, Пульхерии, Евдокии императрицы римской и других знаменитых жен) все разделенные дары Екатерина в себе имеет совокупленные? Не довольно ли видиши в ней нелицемерное благочестие к Богу, неизменную любовь и верность к мужу и государю своему, неусыпное призрение к порфирородным дочерям, великому внуку (т. е. сыну царевича Алексея!) и всей высокой фамилии, щедроты к нищим, милосердие к бедным и виноватым, матернее ко всем поданным усердие? И зри вещь весьма дивную: силы помянутых добродетелей виновныя, которыя по мнению аки огонь с водою совокупитися не могут, в сей великой душе во вселадкую армонию согласуются: женская плоть не умаляет великодушия, высота чести не отмещет умеренности нравов, умеренность велелепию не мешает, велелепие икономии не вредит: и всяких красот, утех, сладостей изобилие мужественной на труды готовности и алмамантова в подвигах терпения не умягчает. О необычная!.. великая героиня... о честный сосуд!.. И яко отец отечества, благоутробную сию мать российскую венчавый, всю ныне Россию твою венчал еси!.. Твое, о Россия! Сие благолепие, твоя красота, твой верьх позлащен солнца яснее просиял».¹⁵

¹⁵ «Слово в день коронации г. и. Екатерины Алексеевны, говоренное в Москве,

Лучи от этого ясного купола, не согрев и не оживив никаким чувством Россию, согрели, однако, и «влили радость в сердца» лицам, приближенным к светилу. В числе первых из награжденных был Виллим Иванович Монс.

«С 1716 года, – гласит официальный документ, – по нашему указу, Виллим Монсо употреблен был в дворовой нашей службе при любезнейшей нашей супруге, ея величестве императрице Всероссийской; и служил он от того времени при дворе нашем, и был в морских и сухопутных походах, при нашей любезнейшей супруге ея величестве императрице... неотлучно, и во всех ему поверенных делах с такою верно-стью, радением и прилежанием поступал, что мы тем всеми-лостивейше довольны были, и ныне для вящаго засвидетель-ствования того, мы с особливой нашей императорской ми-лости, онаго Виллима Монсо в камергеры всемилостивей-ше пожаловали и определили... и мы надеемся, что он в сем от нас... пожалованном новом чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму человеку надле-жит».

VII. Донос (апрель – июнь 1724 года)

Между тем в то время, когда Россия, по уверению льстивого витии Феофана, в его лице умилялась пред «неизменной любовью, верностью к мужу» и пред другими превысокими добродетелями Екатерины; в то время, когда фаворит ее получал «вящее засвидетельствование особой милости», – над ними подымалась гроза. Тучи скоплялись не со стороны каких-либо сановников, не со стороны, например, «великих инквизиторов» и тому подобных лиц, которые в других случаях тщательно доносили о всем Петру: нет, туча над Монсом исходила из самых низших слоев дворцового общества – со стороны его служителей и мастеровых.

Главнейшим из служителей, лучше сказать из чиновников канцелярии Монса, был Егор Михайлович Столетов.

Простой служитель царицы Марфы Матвеевны, вдовы царя Федора Алексеевича, потом писец ее брата, адмирала Федора Матвеевича Апраксина, малый весьма и весьма неглупый, пронырливый, вороватый, бойкий на язык и письмо, он сумел втереться на службу к Виллиму Ивановичу; и стоило то ему теплое место недорого: он заплатил за него Монсу пищалью в шесть червонных, антелем венгерского вина, английскими шелковыми чулками, куском красного сукна и

лисьим мехом в двадцать рублей.

Все эти издержки он поспешил окупить сторицей.

Дело в том, что последние годы Монс был завален всевозможными просьбами; невежда в русской грамоте, весь погруженный в хлопоты об устройстве своих домов, скоплении состояния, занятый поддержкой своего фавора, он, естественно, нуждался в человеке, который бы взял на себя труд принимать, прочитывать челобитья, входить в разные соглашения с просителями (разумеется, более мелкими) относительно презентов, составлять экстракты и доклады – словом, быть его первым секретарем и чиновником разных особых поручений. Таким и сделал он Егора Столетова, «канцеляриста корреспонденции ея величества».

Канцелярист скоро понял, в какой степени нужен он фавориту, и не замедлил закрепить за собой разные права, точно обозначавшие степень его власти и значения; для этого он сам составил инструкцию, Монс ее утвердил: все входящие и отходящие письма ея величества ведать ему одному, а другого к ним не допускать; он один являлся в коллегии для объявления разных указов государыни – указов, составлявшихся под руководством его патрона – Монса; на нем лежала обязанность составлять доклад-экстракт для государыни из разных челобитень просителей и просительниц и проч.

Подобная инструкция ясно очерчивала сферу деятельности и власти Столетова; скоро почувствовали это почти все искатели милости Монса; все они, от мелких придворных

служителей до светлейшего князя Меншикова, в 1723–1724 годах отправляя подарки Монсу, не обходили и его делопроизводителя.хлопоты Столетова состояли в напоминаниях Монсу о тех или других просьбах, в отводе им поболее места во всеподданнейших докладах, в ходатайствах у разных председателей коллегий; эти, в свою очередь, стали оказывать знаки дружеского расположения к канцеляристу. Служба Столетова покупалась разнообразными подарками: тут были белье, галстуки, камзолы, тулупы, серебряные чайники, кофейники, сукна, меха, бахрама, камка, золотая парча, овес, дорожная коляска, лошади, наконец, деньги от 50 до 220 рублей единовременно. В числе просителей и дарителей, кроме множества разных слуг дворцовых, приказчиков, поставщиков, управителей дворцовыми именьями, чиновников, мы встречаем Льва Измайлова, Ивана Шувалова, Степана Лопухина, князя Гагарина, князя Василия Лукича Долгорукова, князя Алексея Долгорукова – столь неумолимого, неумолимого в задаривании семейства Монса, князя Щербатова-глухого, князя Меншикова и царевну Прасковью Ивановну. Подарки Столетов, как наивно уверял впоследствии, «вменял не во взятки, но в благодеяние и в приязнь», за исключением, впрочем, царевны Прасковьи Ивановны, которая жаловала его за то, «чтоб он приводил Монса, а тот государыню императрицу, чтоб та ее содержать в милости своей изволила и домашнее бы им (царевне и ее сестре Катерине Ивановне) определение учинила».

Секретарь был малый хвастливый, тщеславный, болтливый на язык, как человек, вышедший из ничтожества, – чрезвычайно зазнавался и вообще вел себя крайне неосторожно.

Как Монс действовал именем императрицы, так Столетов, бродя по разным канцеляриям и коллегиям по делам своих «милостивцев» и приятелей, употреблял имя Монса в виде понудительного средства. Все это сделалось известным родственникам камергера; об этом же говорили адмирал Федор Матвеевич Апраксин и Павел Иванович Ягужинский.

– Столетов у меня жил, – рассказывал адмирал Петру Балку, – и Столетова я знаю: он бездельник, я им был недоволен и сбил его с двора.

– Брось ты Егора, – убеждал Ягужинский Монса, – он твоим именем много шалит, чего ты и не знаешь.

– Ради бога, брось его от себя! – со слезами умоляла Виллима Ивановича вся его фамилия, т. е. сестра, племянники, – буде не бросишь, то этот Столетов тебя укусит, и ты от него проему падешь.

– Виселиц-то много! – самоуверенно отвечал Виллим Иванович, – если Егор какую пакость сделает, то... не миновать виселицы!

Не одна уверенность в своей силе мешала Монсу «отбросить» болтливого, вороватого и заносчивого Столетова: этому мешало то обстоятельство, что он посвятил секретаря во все тайны взяточничества; на его попечение возложены были многие дела, по которым Монс уже взял подарки и которые,

следовательно, надо было привести к благополучному исходу; наконец, Столетов вообще заявлял большие способности к секретарской должности и был человек, по своему времени, довольно образованный: так, он знал языки немецкий, польский, а на русском кропал даже чувствительные романсы.

Несмотря на чувствительность, высказываемую в романах, Столетов не являл чувствительности в обращении с низшими; напротив, он вел себя с крайнею заносчивостью и «гордил» с ними так, что его никто не любил.

Кроме Столетова, пособника во взятках, Монс имел другого весьма полезного для себя помощника в делах чисто дворцовых: то был известный Балакирев.

Стряпчий Хутынского монастыря Иван Балакирев ведал в 1703 году сбором подушных денег с крестьян и монастырскими делами по разным приказам; несколько лет спустя мы его видим гвардейским солдатом. Солдатская ляжка была тяжела Балакиреву; в неисчерпаемой веселости своего характера, в остроумии, в находчивости и способности ко всякого рода шуткам и балагурству он нашел талант «принять на себя шутовство» и этим самым, при посредстве Монса, втереться ко двору его императорского величества. Известны многочисленные анекдоты о пронизательности, уме, находчивости, смелости, правдолюбию, доброте, честности и т. п. достоинствах придворного шута Балакирева. Все это рассказано в нескольких изданиях «анекдотов», и все это бо-

лее нежели наполовину выдумка досужих издателей площадных книжонок. Верно одно, что Балакирев умел пользоваться обстоятельствами, умел делаться полезным разным придворным, был действительно из шутов недюжинных, но все его высокие добродетели и высокое значение его шуток – для рассеяния черных дум Петра, для спасения невинных и проч. – все это разлетается дымом при первом знакомстве с подлинными документами.

Как умный человек, Балакирев втерся под крылышко Монса; у него он был домашним человеком, служил рассыльным между ним и Катериной, высматривал и выслушивал для него о разных дворцовых делах – словом, был его клиент, расторопный, но, к несчастью Монса, подобно Столетову – невоздержан на язык.

Таковы были главные из ближних клиентов Монса.

Познакомившись с ними, зайдем с одним из них, с Балакиревым, к его приятелю – обойного дела ученику, к Ивану Ивановичу Суворову.

Балакирев не в духе.

– Письма я вожу некоторые из Преображенского к Виллиму Монсу нужные, – говорил шут, – а мне такие письма скучили, и опасен от них: мне (ведь) первому пропадать будет.

– От кого ж те письма и какие?

– А вот Егор Столетов домогается ключи у Монса от кабинета его (взять), – продолжал Балакирев после некоторого молчания и уклоняясь от прямого ответа, – а в том кабинете

нужные письма лежат, и Монс еще Егору в том не верит. Я же вот, – хвастал шут, – в великом кредите у Монса: что хочу у него, то и делаю.

Разговор этот происходил 26 апреля 1724 года в селе Покровском, где проживал в то время Монс и куда приносились записки из Преображенского, резиденции Екатерины.

Суворов знал не от одного Балакирева об «опасном» романе. Был у него однажды «Мишка», слуга царского денщика, т. е. по-нынешнему – флигель-адъютанта, Пospelова. Между прочею болтовнею Суворов заметил:

– Куда какие причины делаются во дворе! Как это Монс очень (то уж) силен стал!

– Я еще лучше причину знаю, – ответил Мишка, – Кобыляковой жене (служанке государыни) табакерку дали. И она ту табакерку бросила, говоря: «Мне в этом пропасть! Я донесу, как хотите!»

Подобных известий Суворов, как надо думать, понабрался и от других служителей и служанок; сведениями своими он не замедлил поделиться со своим товарищем Михеем Ершовым. Михей заночевал с 26 на 27 апреля 1724 года у Суворова; в ночной тишине между приятелями завязалась интимная беседа.

– Некоторое письмо, – говорил Суворов, – перелетело нужное из Преображенского в Покровское к Монсу. Я сам видел у него подмоченных писем много; оные не опасно лежали, так что люди, которым не надлежало видеть тех писем,

могут смотреть, чего секретарю, как Столетов, не надлежит делать; а когда сушили те письма, тогда унес Егор Михайлов (Столетов) из тех писем одно письмо сильненькое, что и рта разинуть боятся. И говорили Монсу сестра его Балкша, Петр Балк и Степан Лопухин, чтоб он Егора от себя отбросил.

– А что то за письмо? – спрашивал Ершов.

– Хорошенькое письмо! Написан (в нем) рецепт о составе питья.

– Какого питья и про кого?

– Ни про кого, что ни про *хозяина!* И то письмо отдал его Егор Алексею Макарову, а Алексей отдал Василию Поспелову.

Несколько дней спустя, в первых числах мая 1724 года, встретился Суворов со своим знакомым – Борисом Смирновым, у Сената, который был в то время в селе Покровском.

– Где ты был? – спросил Суворов.

– В Сенате, для подавания челобитной о себе просительной, о причтении к добрым людям.

– Ты бы челобитную-то подал Монсу.

– Опасаюсь, – отвечал Смирнов, – чаю его себе неблагодетелем, понеже и в панине деле Монс его, паниной, стороны был.

– Виллим (то Монс)? Хорош! – говорил Суворов. – Хорошо его поддели на аркан! Живет (вишь) у него секретарь его, который все, что он ни делает, – записывает.

– Что во многих искать! – передавал потом эту новость

Смирнов Ершову. – Что во многих искать! И лучшего-то – Монса – Егорка подцепил на аркан.

Странно было бы, если бы в тогдашнее время из всех этих собеседников о вещах «вельми противных» не нашлось бы ни одного изветчика.

Таким объявился Михей Ершов.

Страх ли наказания за то, что о слышанных словах не донес в то время, как те слова ведомы Смирнову, могли быть ведомы и другим, а потому могли объявиться; надежда ли на награду, желанье ли погубить ненавистного всем им Егорку Столетова, – из чего бы то ни было, только Ершов решился подать донос.

Решение его, однако, не могло скоро осуществиться: этому помешала коронация. Начался ряд празднеств, все были заняты, и едва ли кому охота была принимать, а тем более разыскивать по доносу.

Но вот шум и суетня великих торжеств угомонились, придворные заговорили о скором отъезде царской фамилии в Петербург, начались сборы; государыня и ее дочери принимали уже прощальные визиты герцога Голштинского и других знатных персон. Ершов побоялся далее мешкать и во вторник, 26 мая, подал донос.

«Я, Михей Ершов, – писал изветчик, – объявляю: сего 1724 года апреля 26 числа ночевал я у Ивана Иванова – сына Суворова, и между протчими разговорами говорил Иван мне, что, когда сушили письма Виллима Монса, тогда-де

унес Егор Михайлов из тех писем одно письмо сильненькое, что и рта разинуть бояться...» Затем изветчик передал слова Суворова о «рецепте питья про хозяина»; о том, что рецепт у Пospelова; наконец, добавил замечание Смирнова: Егорка-де подцепил Монса на аркан.

Допросили Смирнова, тот подтвердил о своем разговоре с Суворовым у Сената.

Дело первой важности.

Тут не извет на какое-нибудь пьяное слово, будто бы вредительное к чести его императорского величества: тут дело идет об умысле на жизнь хозяина, указывается на письменный документ, называются лица, и лица все близкие, доверенные Петру.

Что ж, в тот же день их призвали к допросу, арестовали, застенок огласился воплями истязуемых?

Ничего не бывало.

Кому подан донос, кто выслушивал объявление Ершова, где происходило с ним объяснение, наконец, почему немедленно не допросили оговоренных в нем, если не Макарова и Пospelова, то менее важное лицо – Ивана Суворова, – все эти вопросы остаются неразрешенными. Донос точно канул в воду. Петр не узнал о нем. Но человек, решившийся скрыть извет и наложить молчание на Ершова и Смирнова, как кажется, немедленно дал знать о всем случившемся Катерине Алексеевне.

Она в это время наслаждалась полнейшим счастьем. Каж-

дый день маленький домик Преображенской слободы наполнялся именитыми гостями; угощение не прекращалось; сам государь был как нельзя более в духе; все время щеголял – ради коронованной хозяйюшки – в новых французских кафтаных, и ради веселья и собственного счастья радушно поил всех и каждого из собственных рук. Словом, Екатерина была весела, спокойна, довольна и пользовалась вождеденным здоровьем.

Вдруг, 26 мая, во вторник, когда Петр был где-то в отлучке, с Екатериной делается сильнейший припадок, род удара. Больной немедленно пустили кровь; она очень ослабела, так что отдан был приказ по церквам – в продолжение недели петь молебны за ее выздоровление. 31 мая ей опять стало хуже.

Государь, не зная причины болезни, был довольно спокоен, ездил на железные заводы и 16 июня, лишь только заметил, что жене лучше, оставил ее оправляться, а сам поспешил в дорогой для него парадис, а для массы его современников попросту – в петербургское болото.

Здесь-то, шесть месяцев спустя, вновь вынырнул страшный донос Ершова.

VIII. Пред розыском (июнь – октябрь 1724 года)

16 июня 1724 года, как мы видели, государь оставил Москву, а в ней недужную супругу. Денщик Древник получил приказание выждать ее выздоровления, и лишь только она подымется в отъезд, ехать вперед и известить о том императора. По всему было видно, что государь ничего не знал о роковом доносе: Петр по-прежнему был внимателен, нежен и заботлив к Екатерине.

«Катеринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй! – приветствовал он ее с дороги в Петербург. – Я вчера прибыл в Боровичи, слава богу, благополучно, здорово, где нашел наших потрошонков (т. е. детей) и с ними вчера поплыл на одном судне... зело мучился от мелей, чего и тебе опасуюсь, разве с дождей вода прибудет; а ежели не прибудет и сносно тебе будет, лучше б до Бронниц ехать (тебе) сухим путем; а там ямы (т. е. станции) частыя, – не надобно волостных (подвод). Мы в запасе в Бронницах судно вам изготавим... дай боже вас в радости и скоро видеть в Питербурхе». На любительной грамотке, без сомнения, по желанию Петра, приписывали и «потрошонки» – Анна и Елисавета.

Въехал государь в дорогой для него Петербург и не замедлил в нежной цидулке поделиться чувствами с «Катеринуш-

кой». «... Нашел все, – писал он, между прочим, – как дитя, в красоте растущее, и в огороде (т. е. в Летнем саду) поселились; только в палаты как войдешь, так бежать хочется: все пусто без тебя...

и ежели б не праздники зашли (т. е. годовщина Полтавской виктории и день Петра и Павла), уехал бы в Кронштат и Питергоф... дай бог вас в радости здесь видеть вскоре! Кораблей чужестранных здесь 100 в приходе».

Только что отправился гонец с приведенной нами грамоткой, как на другой день государь сам получил письмецо от «Катеринушки»: та писала, что пришла в «старое» здоровье, что она отправляется из Москвы, и шутила в прежнем роде.

Как обрадовался государь весточке, можно судить из того, что он в тот же день послал ей навстречу суда, а на них обычные презенты: «венгерское, пиво, помаранцы, лимоны и соленые огурцы».

Та не медлила ответами, писала с пути, поздравляла с празднествами 27–29 июня, заявляла «сердечное желание в радости вас скорее видеть».

Между тем как государыня, оправившись от неожиданного удара, спешила в Петербург на радостную встречу, в течение пути в толпе ее многочисленной свиты шло шушуканье о вещах, для нее опасных.

«Монсова фамилия, – рассказывал придворному стряпчему Константинову знакомый уже нам болтливый Суворов, – вся приходила к Монсу просить со слезами, чтоб он Егора

Столетова от себя отбросил, а то может он, Монс, от Егора пропасть. Монс отвечал: „Виселиц много!“ Егор, сведав про то, сказал: „Он, Монс, прежде меня попадет на виселицу“. И достигал Егорка у него, Монса, из кабинета одного письма, однако не достал».

О силе того письма Суворов, по осторожности, промолчал.

– Для чего Монс так долго не женится? – спросил Константинов.

– Если Монс женится, то кредит потеряет.

И, помолчав, Суворов спросил у Константинова:

– А знаешь ли ты Балакирева?

– Не очень знаю.

– Этот Балакирев хотя и шалуном кажется, однако не промах.

Разговор, как кажется, ничего не заключал в себе интересного, а между тем кто-то им очень заинтересовался; кто был этот любопытный, из-за чего он чутко прислушивался к подобным толкам – неизвестно. Зато известно, что в тот же день составлена была «записка для памяти, что Иван Суворов рассказывал Андрею Константинову, едучи в дороге от Москвы до Петербурга». Записка спрятана. Кто ее доставил, кому подал, почему она исчезла до времени – все это остается загадкой.

Интрига, как видно, обдуманная, осторожная, велась против Монса; над ним и его патроной скопьялась гроза. Отно-

шения же между тем государя к государыне, а следовательно, и значение нашего героя оставались прежние.

Так, 8 июля 1724 года Екатерина была встречена с большим торжеством: целая флотилия буеров выплыла к ней навстречу за Александро-Невскую лавру, и немало пороку было расстреляно, немало вина было распито прежде, нежели окончились поздравления императрицы с благополучным приездом. Но глаз наблюдателя легко мог заметить, что эти поздравления, тосты, пушечные залпы не могли придать силу и бодрость государыне; заметно было, что необъяснимый для двора припадок 26 мая сильно потряс организм Екатерины; она была еще очень слаба и даже не садилась за стол. Впрочем, это продолжалось не долго. Скоро последовали обычные пиры с обычными явлениями; пиры эти в лето 1724 года задавались при дворе как-то особенно часто, так как поводов к ним было много: беспрестанно спускали нововыстроенные корабли, фрегаты, мелкие морские и речные суда. Редкая из пирушек при этих случаях, особенно размашистых, обходилась без присутствия императрицы. Государь, оживленный явлением «новорожденнаго»¹⁶ адмирал-баса Головина, оживленный участием в его радости «свет-Ка-теринушки», был обыкновенно в очень хорошем расположении духа. Прямым следствием было то, что «новорожденных» окрещивали страшнейшими водкоизлия-

¹⁶ «Новорожденными» детками Головина назывались новые корабли. (Прим. автора.)

ниями. Вино оказывало свое действие: возникали ссоры, дело не обходилось без затрещин: то «птенцы» клевали друг друга... Если «новорожденное» судно было невелико, то государыня иногда не принимала участие в пире, но, объехав судно в своей барке, осушала бокал за здоровье «свет-батюшки», и этого было довольно: «государь опять был в очень хорошем расположении духа». А запируется он, и жена едет к нему с «напамятованием»: «Пора домой, батюшка». «Батюшка» слушается и оставляет сотрапезников.

Бывали ли в это время свадьбы придворных чиновников и служителей – и на них, по обыкновению, почти всегда можно было встретить Петра и Екатерину: «их величества бывали очень веселы». На государя особенно часто в это время находила шутливость, и он шутил грубо, цинически, но по своему времени остроумно. Что Монсы и Балки нисколько не теряли «кредита», видно из того, что государь с государыней посещали их семейные праздники: так, 11 августа 1724 года высочайшие особы были на крестинах дочери Балка – Екатерины; несколько дней спустя мать Балка, Матрена Ивановна, фигурировала на свадьбе тайного кабинет-секретаря Макарова в качестве «сестры жениха»; словом, положение этого семейства при дворе, как относительно державных супругов, так и в кругу вельмож и дам «высшаго общества», нисколько не умалилось.

30 августа 1724 года, в воскресенье, все блестящее петербургское общество, вслед за государем и государыней и во

главе многочисленного скопища народа, принимало участие в религиозно-политической процессии. В этот день Петербург вышел во сретение бранных останков Александра Невского. Страстный охотник до катаний по воде, Петр и эту церемонию устроил на реке: многочисленная флотилия пушечными залпами встретила гроб славного князя.

«Звон колоколов не умолкал, – повествует Берхгольц, – необъятное множество зрителей крестились и кланялись. Большая часть из них, проникнутая глубоким благоговением, горько плакала; но были и такие, – уверяет Берхгольц, – которые смеялись или смотрели с сожалением на глупую (?) толпу. Императрица с двумя дочерьми, затем обе герцогини – Анна (Курляндская) и Екатерина (Мекленбургская) – и все дамы, в великолепнейших нарядах, находились на переднем монастырском дворе (в Александро-Невской лавре), у архиерейского дома, и там ждали приближения гроба. Увидев его, они также начали креститься и кланяться, причем некоторые старые дамы заливались слезами не менее простолюдинов. Как скоро гроб пронесли мимо ее величества императрицы, она последовала за ними в часовню со всею своею свитою и впереди духовенства» и проч.

За религиозными церемониями следовал пир; отшельники Невской лавры явились радушными хозяевами. Гостям подавалось мясо, провозглашались тосты, в стенах мирной обители гремели пушки.

Словом, все церемонии, празднества, спуски кораблей,

свадьбы придворные, речные катания и прогулки в «огороде», т. е. в Летнем саду, редко обходились и в это время без присутствия государыни. Ее всегда можно было видеть подле ласкающего ее супруга, всегда можно было видеть и знаки верноподданничества, расточаемые ей вельможами: так, например, при провозглашении тоста за ее здоровье на одной из пирушек, 25 октября 1724 года, все старые и именитые сановники пали к ее ногам. Подобные заявления «рабской преданности» были нередки.

Ввиду чувствительных сцен, ввиду нежных цидулок государя, словом, при прежнем значении Екатерины, не уменьшалась власть и сила ее фаворита.

После удара над Екатериной и по отъезде Петра из Москвы, Монс скоро был обрадован грамоткой Василья Пospelова. Так как Пospelов был одним из самых любимых денщиков, т. е. флигель-адъютантов государя, то приводим его письмо с буквальной точностью.

«Государь мой братец Виллим Иванович, – писал Пospelов, – покорно прошу вас, моего брата, отдат мои долший поклон моей милостивой государыне матушке, императрице Екатерине Алексеевне; и слава богу, что слышим ея величество в лутчем состоянии; дай Боже и впред благополучие слышат. Остаюсь ваш моего друга и брата слуга Петров Пospelов».

Кто был Пospelов, мы уже видели; понятно, что ласковая цидулка от него была приятной весточкой Монсу; «на верь-

ху», значит, все благополучно, мог думать он, если любимейший денщик царя пишет столь любительно.

И Монс, без сомнения, встревоженный вначале доносом, мало-помалу успокоился. Занятия по службе, хлопоты по делам челобитчиков, милость государыни и ласкательство двора быстро рассеяли его опасения. Служебные занятия оставались прежние: он ведался с поставщиками каких-нибудь «гданских водок для двора ея величества», подряжал «живописцев для некотораго исправления комедии», рассчитывался с разными дворцовыми подрядчиками, списывался с управляющими по имениям государыни, выслушивал их жалобы друг на друга, отставлял от места одних, принимал других и, разумеется, чинил все то не без малых презентов.

В получке последних, как уже известно, принимал участие обреченный Монсом на виселицу, тем не менее все-таки довереннейший его секретарь Столетов.

«Вас нижайше прошу, – писал, например, Степан Лопухин к Егору Михайловичу, – послан человек от моего друга, князя Алексея Григорьевича Долгорукова, к дядюшке, котораго прошу не оставить и дядюшке в деле его (Долгорукова; о деле см. выше) вспоминать... и представь онаго (посланного) всегда дяде (Монсу) по всякой возможности, чтоб он от него все выслушал с покоем, за что я вам истинно сам служить потщуся сердечно, и он (Долгоруков) вам будет благодарить».

Знатнейшие аристократы, впрочем, из опальных се-

мейств, в лице, например, князя Юрья Гагарина, заискивали у «канцеляриста корреспонденции»: «В надежде вашей дружеской милости прошу вас, ежели возможно, вам пожаловать обলেখчитца ко мне сей день откушать; ежели же невозможно, ведаю, что вам многия суеты (т. е. заботы), то прошу хотя на один час...» и проч. Свидания этого жаждет князь для узнания о судьбе своей и жениной челобитной, вероятно, по делу о конфискованных имениях кого-нибудь из своих родственников: «Я трижды приезжал ко общему нашему милостивому патрону Виллиму Ивановичу, только не получил видеть, и иногда и на двор не пускают: по истинне я ведаю, что ныне дело ему суетно» и пр. Как, однако, не было суетно, но Виллим Иванович все-таки имел время принимать подарки; так, в течение времени с мая по октябрь 1724 года помещик один прислал ему из Симбирска персидскую кобылу; в то же время московская купчиха-иноземка просила его «восприять во благо» два куса тончайших кружев да 500 червонных; крестьянин подмосковный, по своему делу, поднес 400 рублей; другой челобитчик, «в несумненной надежде, послал к Виллиму Ивановичу, отцу и государю, иноходца карева, с просьбой, какое-то прошение всенижайшее принять, равно как и убогое дарование, принесенное от усердия...» Купец-иноземец бил челом сотней бутылок понтаку да несколькими бутылками пива, бочкой базарака, ящиком бургонского, ящиком шампанского и проч. вин; Александр Нарышкин подарил ему на завод две кобылы; Нарышкин да-

рил ради «новой приязни»; другой наш знакомый, помещик Отяев, подарил по «старой дружбе» двух собак да охотника. Мошков еще в мае презентовал для вновь строящегося дома Монса беседку из дома царевича Алексея; царевна Прасковья, хлопоча о домовом с сестрами разделе, посылала ему постоянно съестные запасы. Словом, Виллим Иванович по-прежнему не брезгает ничем и, точно предчувствуя близкий расчет, берет все больше и больше, чаще и чаще. Семь бед – один ответ!

«Особливому отцу в нужде» падают в ноги целые товарищества, депутации: так, слезно молят его несколько крестовых дьяков «не отринуть ихнаго прошенья от своего высочества (!)»... о ходатайстве им за долговременную службишку «жалованья»; так, пишет к нему и донское казачество в лице «старшин своих с товарищи». «Вам, нашему премилостивому государю и патрону, – пишут казаки, – зело благодарствуем, что вы нас милостиво содержите, и впредь покорно просим, о чем посланной наш есаул будет вашего благородия просить, дабы его прошение оставлено не было, за что долженствуем вам, нашему премилостивому... патрону, сослужить».

Дело казаков, как кажется, касалось размежевки земель их с владельцами соседних жалованных поместий. Виллим Иванович не задумываясь хлопотал в пользу казацких старшин и одновременно с тем же «бескорыстием» радел об удовлетворении просьбы лейб-кучера Возжинского. Последне-

му пожелалось получить чин и дворянство; чрез кого достать и то, и другое? Ну, разумеется, чрез Монса. Государыня дала указ, камергер отписал к Остерману: «сочините патент»; тот сочинил, препроводил к Монсу на рассмотрение и тут же явил обычную осторожность. «Ежели оный (патент), – писал Остерман Монсу 7 августа 1724 года, – его величество изволит апробовать, то надобно его напечатать, ибо все патенты имеют быть печатные. Впрочем, вашему благородию доношу, что понеже, по указам и регламентам его императорского величества, на дворянство патенты определено давать из Сената, то не изволите ль, ваше благородие, о помянутом лейб-кучере, что он во дворяне пожалован, сообщить прямо в Сенат, дабы нам в сочинении таких патентов не учинить какой противности указам и регламентам, в чем я не безопасен».

Но как труслив и осмотрителен был Андрей Иванович Остерман, так, напротив того, самонадеян Виллим Иванович; пожалование лейб-кучера дворянством принадлежало к числу неважных для него операций; нет, он не затруднился вмешаться в дело первой важности – в «сочинение брачного союза единой из дочерей великаго государя». Монс был ревностным ходатаем герцога Голштинского.

Герцог Голштинский Карл-Фридрих прибыл из Германии в Ригу в начале 1721 года. Это был молодой человек двадцати одного года, слабого сложения, маленького роста, невзрачный и очень бедный; жертва Северной войны, ли-

шенный своих владений королем датским, герцог сохранил за собой только небольшую территорию с главным городом Килем. Между тем Петр с исходом Северной войны делался сильнейшим государем Европы, и вот ничтожный герцог, в качестве бедного претендента, претендента, однако, с большими претензиями, является в Россию искать денег, связей, войска. Претендент на отнятые у него голштинские владения, претендент (в качестве племянника Карла XII) на шведский престол, Карл-Фридрих искал защиты и помощи в Петре; а чтоб получить и то, и другое, он стал добиваться руки одной из дочерей государя. В год его приезда государевым дочерям было: Анне – тринадцать, Елисавете – одиннадцать лет. Гости приняли хорошо; государь ласкал его, приглашал на все празднества, время от времени, особенно под веселую минуту, являл знаки своего расположения; но дела герцога все-таки не подвигались ни в отношении предполагаемого брака, ни в отношении его династических притязаний. Все оканчивалось полуобещаниями. Петр смотрел на него как на орудие, которое может при случае пригодиться, чтобы угрожать кому-нибудь или запутать и затянуть какие-нибудь дипломатические вопросы. Дневник Берхгольца, без сомнения, вопреки желанию самого автора, служит лучшим материалом для представления всей ничтожности голштинского претендента и для представления себе той жалкой роли, какая выдалась ему с 1721 по ноябрь месяц 1724 года.

«Во все это время Петр с ним шутит, поит и спаивает

его, и большею частью во всем этом просвечивает какое-то небрежное покровительство; а иногда он не только не церемонится с гостем, но и не обращает на него никакого внимания... Все (т. е. собственно приближенные герцога) считают его женихом великой княжны, а дело ограничивается неловкими реверансами или этикетным целованием ручки. Вот, кажется, блеснул луч надежды и объявят их обручение. Не тут-то было: внезапно великих княжон увозят куда-нибудь или герцога перестают звать во дворец за отъездом Петра или по другим причинам. Герцог едва имеет средства к существованию, обрезывает содержание своих придворных, не знает, как помочь пленным шведам, которых задабривает перед отправлением их в Швецию. Но на дары Петра много рассчитывать нечего. Они заключаются по большей части в красном яйце, подаренном в светлое воскресенье, или в присылке каких-нибудь продуктов натурой к обеду, за что надо отблагодарить, например, серенадой в именины Екатерины, для чего нужны деньги на музыкантов и проч. Нужда в деньгах и без того настоятельная, а тут вдруг сюрприз: царский приказ шить костюмы на всю свиту для предстоящего маскарада или строить подмости для каких-нибудь иллюминаций, или готовиться к немедленному отъезду в Москву. В награду за все это герцог получает улыбку, или шуточку, или несколько стаканов вина из рук Екатерины и ее дочерей: и как он и все его придворные радуются, какому предаются восторгу, если на него обращено хоть малейшее внима-

ние! Чтоб вызвать его, герцог напрягает силы на перепойках в царских пирушках. Он совершенно спивается, и страсть к пьянству является главным пунктом его соприкосновения с русскими вельможами. Многочисленные свои досуги Карл наполняет или попойками, или пустейшими препровождениями времени, в которых проявляются нелепые вкусы тогдашних карикатурных и миниатюрных германских двориков, формальность и этикет, растворенные казармами. Он учреждает из своих придворных то форшнейдер-коллегию, то тост-коллегию, устав которой определяет мельчайшие подробности всякого ужина, то какое-то обыкновенное свое общество, где участвуют только избранные. Вдруг устанавливается им какой-нибудь орден „виноградной кисти“, а через несколько времени – „тюльпана“ или „девственности“, и он с важностью жалует шутовские их знаки некоторым приближенным. Летом на даче герцог составляет из своей свиты войско, которое располагает в лагере и мучит ученьями, а иногда играет им в войну и т. п. Таковы были преимущественно... упражнения молодого человека, имевшего желание и даже шансы не только властвовать в Голштинии, но царствовать в Швеции или управлять Россией».

В 1724 году надежды герцога особенно окрылились; он с нетерпением ждал коронации Екатерины, твердо веруя со своими голштинцами, что одновременно с нею объявят его обручение. Надежды эти поддерживал Монс. Голштинцы умели снискать приязнь фаворита, что им, как немцам, бы-

ло нетрудно; Монса и Балка принимали они с почетом, герцог дарил как их, так и Матрену Ивановну золотыми табакерками, лентами, собаками и т. п. игрушками, насколько то позволял его скудный достаток; ходатайству Монса надо приписывать то, что Екатерина также являла чувство любви и расположения к герцогу, посылала ему время от времени подарки и вообще смотрела на него несравненно милостивее и была к нему внимательнее, нежели государь.

Льстя себя надеждой, что время осуществления его желания близко, экс-жених с января 1724 года решился познакомиться с русским языком. Учителем его был переводчик-швед; но, кажется, на первых уроках занятия остановились, по крайней мере, аккуратный Берхгольц не говорит далее о них ни слова. Да и до ученья ли было человеку, которого, как сам он рассказывал, с малолетства еще отучили от всякого ученья бессмысленным заучиванием кучи предметов; до ученья ли было тому, кто каждый день, не зная, чем убить время, волновал себя мечтами: состоится или не состоится соблазнительно выгодное для него сватовство? Но кто же его невеста? А ему все равно – Анна или Елисавета; последняя даже больше ему нравится, но все равно он готов, по первому указанию государя, вспылать страстью к любой из его дочерей, а пока он одинаково нежно целует им ручки и отвешивает глубочайшие поклоны.

3 февраля 1724 года, в день ангела Анны Петровны, на обеде и на балу государь был очень ласков с ее величеством:

этого было довольно, чтоб дать надежду голштинцам, бывшим тут же с герцогом, что-де в этот день будет объявлено что-нибудь положительное о браке Карла-Фридриха. «Но увы! Ожидания наши не сбылись, – так писал по возвращении домой Берхгольц, – и теперь остается только надеяться, что авось наконец в коронацию, с божиею помощью, все приведено будет к желанному окончанию».

За справками, обнадеживаниями, вообще для переговоров по этому и другим делам, голштинцы обращались к Монсу. Так, между прочим, 17 февраля 1724 года обер-камергер герцога, граф Бонде, отправился к Монсу, чтоб узнать, когда его королевскому высочеству можно будет приехать проститься с государыней, по случаю ее отъезда в Москву. Камер-юнкер сам явился к герцогу с извинением от государыни, что проститься теперь она не может, причем Екатерина посылала поклон и соболью шубу в 1500 рублей. Герцог поспешил отдарить посланного золотой табакеркой.

Прошел февраль, кончался март – двор давно гостил в Москве, шли оживленные приготовления к коронации, но об обручении герцога со стороны государя не было и помину. Тщетно на пирушках Карл-Фридрих провозглашал тосты с понятными для всех намеками на его желания; государь отвечал на них весьма охотно и смеялся над ними. Тосты эти были: «за успех всего хорошего», «за желания и надежды наши», «весна приносит розы», «чем скорее, тем лучше».

Тост «чем скорее, тем лучше» герцог провозгласил не

иначе, как предварительно посоветовавшись с Ягужинским. Последний сказал о том на ухо императору, который отвечал на своем голландском языке: «Почему же нет?» – и тотчас же сам потребовал стакан вина.

Наконец наступил день коронации; кончились торжества. Герцог в нетерпеливом ожидании встречал каждый день; вдруг 21 мая 1724 года узнал он, и то совершенно случайно, что императорские принцессы непременно выедут из Москвы в Петербург в будущий вторник. Это было ему очень неприятно, потому что как сам он, так и почти вся Москва (без сомнения, только в воображении голштинцев) считали за верное, что в день рождения императора, т. е. 30 мая, будет сделано что-нибудь в пользу его высочества.

«Теперь, – восклицал Берхгольц, – все наши надежды разрушатся этим внезапным отъездом!»

На другой день голштинцы с великим сожалением уверились, что цесаревны действительно уедут из Москвы еще до рождения императора. Опечаленный герцог выплакал горе пред своим обер-камергером, графом Бонде. Тот поспешил к общему их приятелю Монсу.

Было 7 часов пополуночи.

Бонде не застал Монса дома и оставил у него на немецком языке записку. Представляем любопытный документ в современном, т. е. в тогдашнем, переводе, кстати сказать, исполненном по поручению Тайной канцелярии:

«Мой любезный брат! Ох горе! Я теперь у вас был, да

не застал тебя. Государь мой (герцог) во всю ночь в безпокойстве у меня был и не можно его утешить. Он вчерашняго числа слышал, что принцессы отъезжают, и он еще ничего не имеет, и ничего не слышит, что к его спасению принадлежит. Сердечный братец! Попроси ея величество императрицу, чтоб она умилилась над бедным, опечаленным и влюбившимся (!) государем. Он по истине исчезает в сей неподлинности; и остается истинно десперанен, ежели до отъезду принцесс об одной не будет обнадежен. Ради Христа, братец дорогой, не покинь! И матушку нашу (т. е. Екатерину Алексеевну) попроси, чтоб помиловала она. Ей, ей, смерть хозяина моего, ежели милости вашей и божией не будет. Я не могу его утешить. И ежели ему и ныне из Москвы ехать, и никоторой из принцесс, которой за ним быть наречено не будет, и я заклинаю тебя пред Богом и всеми святыми, доложи о сей нужде нашей всемилостивейшей матушке. Генеральша (т. е. Матрена Балк) всевозможное здесь чинит, чтоб меня с утешением в дом к государю моему отправить; только я ничего не могу принять, разве ты мне дашь лучшее известие. Я пребываю, дражайший мой брат, весь ваш Бонде. В 8-м часу».

Монс и сам не думал, что дело влюбленного герцога затянется еще на неопределенное время; он еще недавно говорил князю Белосельскому да секретарю своему Столетову: «Вот государыня цесаревна (Анна Петровна) – какой человек хороший, а отдают за голштинского герцога; а он ей по челове-

честву не придет. То-то чины-то будут! Шаркать и приседать по-немецки станет чиновно...» Говорил он эти речи, быть может, и не без укоризны, так как видно, что герцог действительно по человечеству не стоил цесаревны, хотя сам же и радел о его деле; а еще вероятнее, говорил он то не «к поношению, но к одному немецкому обхождению».

Как бы то ни было, но все толки и хлопоты не повели пока ни к чему. «Весьма удивляюсь, – писал не без горечи шведской канцелярии советник и сторонник герцога барон Цедергельм к графу Велингу, – что о совокуплении брачном еще ничего не слышно, и два срока: яко коронация и день Петра и Павла в сем случае напрасно прошли; сие возбуждает у некоторых мнение, что все пресечется, а у некоторых сумнение и недоверку».

О том же писал и граф Велинг в местечко Поль к Бассевичу или к Бонде; словом, вся голштинская партия была огорчена и оскорблена теми долгими «выкрутками», из-за которых не объявлялось до сих пор обручение герцога. Письма Цедергельма и Велинга были доставлены Монсу кем-то из близких герцога, вероятно, графом Бонде, и без сомнения, для доклада государыне.

Монс, как можно думать, не переставал хлопотать по этому делу. Государыня под его влиянием продолжала являть свое расположение к герцогу, но государь по-прежнему уклонялся от декларации. Явно, что она еще не входила в его политические расчеты. Но вдруг искания герцога увенчались

успехом: причиной того или, вернее сказать, решительным толчком к тому был возникший в ноябре 1724 года розыск.

IX. Розыск (ноябрь 1724 года)

5 ноября 1724 года было роковым днем для Виллима Ивановича. В этот день объявился давнишний донос Ершова.

Как это случилось, кто был передонощиком, из-за чего вновь возникло дело – эти интересные вопросы решительно остаются загадками. С недоумением останавливаешься пред Пospelовым, Ягужинским, Макаровым, Меншиковым, Толстым, Анной Крамер: но нет, никто из них не мог сделаться донощиком на Монса, а следовательно, и на Екатерину. Почему этого не могло случиться, мы уже объясняли; и что они действительно не были виновниками внезапно возникшего розыска, это видно из наград и милостей, которыми их осыпала Екатерина по восшествии своем на престол. Быть может, Андрей Иванович Ушаков? Действительно, он не был дружен с Монсом; ему и поручил Петр чинить допросы, производить следствие, но все-таки и Ушакова нельзя заподозрить в доносе: в противном случае он пострадал бы с воцарением Екатерины, чего, как известно, не случилось. Словом, вернее всего, что государь узнал об извете Ершова путем тайного, безымянного письма, т. е. путем довольно обычным в то страшное время, хотя путь этот и тогда был запретный.

В ноябре 1724 года принесено было одному из его лакеев, Ширяеву, будто бы с почты, письмо.

В чем оно состояло, куда исчезло – неизвестно; но что оно было и относилось к делу Монса, это видно из описи сего дела 1727 года. В ней рукою Черкасова, между прочим, помечено: «Пакет, а на нем написано: письмо подметное, принесенное в пакете к Ширяеву в ноябре месяце 1724 г.; вместо которого указал его императорское величество положить в тот пакет белой бумаги столько же и сожжено на площади явно. А сие письмо указано беречь; а кресты на оном ставлены рукою его же императорскаго величества, блаженной и вечно достойной памяти».

Как ни сведал Петр о доносе Ершова, но 5 ноября 1724 года, по его повелению, взят был в Тайную Иван Суворов.

Суворов, по выслушании доноса, показал, что Ершов действительно у него ночевал, говорил он с ним про Егора Столетова, про то, что письма Монса сушили без опаски; что к камергеру приходила его сестра с сыном со слезным молением отбросить Егорку. «Говорил мне о всем этом Балакирев, – рассказывал Суворов, – тот самый Балакирев, что живет у Монса. А слов, что написал Ершов: когда-де сушили письма Монса, тогда унес Столетов из тех писем одно сильненькое, что и рта разинуть боятся, и что хорошенькое письмо, а написан в нем рецепт о составе питья, и не про кого, что не про хозяина, и что то письмо отдал Егор Макарову, Макаров Поспелову – и (ничего этого) я не говорил; что же

до того, говорил я Смирнову: Столетов-де Монса поддел или подденет на аркан – того подлинно не упомяну, и в чем, того не знаю, только (говорил) применяясь к словам Балакирева, что Егора не любят».

На очной ставке струсивший Суворов и доносчик Ершов – каждый стояли на своем.

Кажется, государь еще не предугадывал, какое развитие получит это дело; едва ли он не посмотрел на него как на обыденное следование о противных словах. Так, по крайней мере, можно думать, глядя на препровождение им времени в первые дни ноября месяца 1724 года.

В тот день – 5 ноября 1724 года – на свадьбе одного немецкого булочника он пробыл три часа, пируя в обществе своих денщиков, с немцами-ремесленниками; и все это время он был «необыкновенно весел». Сам Монс, ничего не предчувствуя, хлопотал о составлении патентов на камергерство, пожалованное ему при коронации: патенты ему и Балку были написаны, но им не суждено было украситься подписями государя.

Розыск продолжался. На другой день Суворов на новом допросе передал Андрею Ивановичу Ушакову известный уже нам разговор свой с Балакиревым. Ершов объявил, что он слышал только то от Суворова, что показано в доносе.

День 7 ноября прошел без допросов. Не в этот ли день донесено было государю о важности начатого по его указу розыска? Не этот ли день таинственное лицо, которое вело ин-

тригу против Монса, употребило на то, чтоб раскрыть глаза государю на странность власти и значения камергера при ее величестве?

К сожалению, ни в повседневном журнале того времени, ни в известном нам рукописном календаре, где попадаются отметки о препровождении времени государя, ни из записок, наконец, Берхгольца не видно, где был государь и чем был он занят в этот день.

Зато положительно известны его занятия 8 ноября 1724 года.

День был воскресный; государь отстоял обедню в Троицкой церкви, что на Петербургской стороне, и оттуда прошел в Петропавловскую крепость. В одном из ее застенков Петра ожидали Андрей Иванович Ушаков и Иван Черкасов, помощник кабинет-секретаря Макарова. Черкасов призван был для записывания показаний; тут же трепетали от страха Суворов, Столетов и шут Балакирев. Дело было не до смеху и шуток. От него потребовали ответа на показания Суворова.

«Я говорил только, – отвечал Балакирев, скрывая все, что было опасного в его болтовне с Суворовым, – я говорил только, что живу я у Монса в милости, но всегда на посылках, без покою; награждения ж не имею. А про Столетова говорил только, что он ищет в Монсе и чаёт у него быть в кредите, и ныне письма все у него на руках. Такие слова, что монсова фамилия, вся пришед к нему Монсу, со слезами просила,

чтоб он Егора от себя бросил и проч. (см. выше), я Суворову сказывал; говорил же ему и про ответ Столетова: что-де они мне сделают? Они-де сами (т. е. Монс и Балки) прежде меня пропадут; про виселицу упоминал ли или нет, того не помню».

Затем Балакирев на все показания Суворова и записку неизвестного о разговоре с Константиновым отвечал или отрицанием, или уверениями, что не помнит, или, наконец, смягчал фразы: так, по поводу разговора своего с Константиновым, отчего Монс не женится, Балакирев так смягчил на допросе: «Сказывал я просто – слышал я от Монса: на что-де мне жениться, у меня-де их много, лишь бы охота была».

Дали очную ставку. Суворов стоял на своем; Балакирев запирался. Его императорское величество велел вздернуть придворного шута на дыбу.

Шут, повиснувши на вывороченных руках, повинился, «токмо силы письма», привезенного им (в апреле 1724 года) из села Преображенского в Покровское к Монсу, не сказал; а вместо того начал было называть лица, с кого его патрон брал взятки. Назвал Якова Павлова, который за презент Монсу сделан был учителем царевны Натальи Петровны, жену Люпса; назвал купца Мейера, князей Меншикова и Алексея Долгорукова, подаривших Монсу лошадей, «а о прочих, – объявил допрашиваемый, – надлежит подробно написать».

Спросили Столетова. «Ведал я, – сказал Егор, запершись

во всем, что показал на него Балакирев, – ведал я только, что фамилия Монсова ко мне недоброхотлива; а Монсу на меня наговаривали. И говорил я, ведая все это: что они мне сделают? Я их не боюсь! А, быть может, я и говорил, ведая их недоброхотство, что сами прежде меня пропадут, а причины к тому не знаю».

Очная ставка с Балакиревым не раскрыла причины.

Откровеннее был Суворов. Он сообщил и то, о чем его и не спрашивали. Так, он пересказал разговор свой с Мишкой, слугой Пospelова.

Всего этого было довольно.

Петр отправился за объяснениями к Пospelову. Что там было – неизвестно. Несколько времени спустя государь возвратился в Зимний дворец.

Казалось, он был довольно спокоен, по крайней мере, в нем ничего не заметили придворные, весело балагурившие у Екатерины. Государь сел с ними ужинать. Монс был в ударе и «долго имел честь разговаривать с императором, не подозревая и тени какой-нибудь немилости». Минуту спустя (после ужина), – так рассказывает саксонский посол Лефорт, – государь велел Монсу посмотреть на часы.

– Десятый час, – сказал камергер.

– Ну, время разойтись! – и с этим словом Петр отправился в свою комнату.

Придворные разъехались. Монс, придя домой, разделся и закурил трубку.

Вдруг в комнату вошел Ушаков.

Страшный инквизитор объявил фавориту, что с этой минуты он арестант; взял у него шпагу, ключи, запечатал бумаги и отвез несчастного к себе на квартиру.

Здесь ждал их сам император.

«А! И ты тут!» – сказал он, окидывая Монса презрительным взглядом. С редким для себя самообладанием государь удержал порыв гнева, не стал и допрашивать. Он оставил Монса на всю ночь терзаться мучениями страха и угрызений совести, если та не совсем заглохла в красавце камергере.

В ту же ночь арестованы были Столетов и Павлов; обоих заперли в Летнем дворце.

Весть об аресте Монса как громом поразила сотни сановников и сановниц петербургского общества. Матрена Ивановна, до которой дело слишком близко касалось, до такой степени испугалась, что слегла в постель и была в совершенном отчаянии; ее семейство и все приятели, все имевшие известного рода дела с Монсом, были в смущении: всем памяты были розыски Петра над царевичем Алексеем и его сторонниками, следствие и суд над князем Гагариным, над несколькими важнейшими из обер— и провинциал-фискалов, над важным Шафировым. Всем было памятно, что в каждом из этих розысков небольшое осталось неподмеченным, и почти никто из лиц, мало-мальски прикосновенных к делу, не остался без строгой ответственности. Так и теперь: никто еще не знал, как взглянет Петр на взятки Монса – не

взмахнет ли он мечом правосудия и по тем головам, которые, склоняясь пред фаворитом, подкупали его на разные несправедливости и происки?

Опасения их были напрасны: Петр уже был не тот, что прежде. Эта железная натура сделалась как-то мягче, так что открытие главной вины Монса глубоко его поразило; удар был так силен, что государь на все остальные вины арестанта взглянул как-то слегка, только как на официальный предлог к его осуждению; преследовать же дававших взятки, входивших в постыдные сделки с фаворитом, – это значило протягивать дело, откладывая казнь, словом, более и более растравлять свое сердце присутствием ненавистного соперника.

Петр решился стереть его с лица земли, и чем скорей, тем лучше.

В понедельник, 9 ноября, в канцелярию государева кабинета внесли ворохи всевозможных бумаг Виллима Монса; пришел Петр. Ввели, по его ордеру, арестанта.

Камергер не вынес взора Петра: в этом взоре было столько гнева, жажды мести и в то же время глубочайшего презрения, что Монс не выдержал, затрясся и упал в обморок. Ему открыли кровь, государь велел его увести назад под караул и дать ему время оправиться, а между тем с жадностью принялся за пересмотр его бумаг.

Надо думать, что при этом пересмотре были и пособники, так что пред государем скоро поднялась большая куча «противных» документов, которые потом и были переплетены в

особую книгу; затем остальные бумаги остались в двух громаднейших связках.

Книга и связки перед нами; содержание первой особенно разнообразно; были ли подобраны сюда бумаги петровскими помощниками по суду, вплетены ли они в общий корешок гораздо позже так, случайно, – как бы то ни было, но сюда вошли бумаги всевозможных родов.

Так, здесь находятся челобитья о разных делах с предложениями презентов от Хитрово, Люпсовой жены, Льва Измайлова, князя Алексея Долгорукова, документ о передаче во владение Монса деревни царевны Прасковьи Ивановны, письма и выписочки о делах Отяева, Малевинского, архимандрита Писарева, Петра Салтыкова, Камынина, ростовского архиерея Дашкова и многие другие бумаги, касающиеся важнейших взяток Монса. Тут же вплетена и немецкая корреспонденция Монса с матерью, с сестрами, с друзьями из Немецкой слободы, его стихи, письма «амурные», гадальная книжка, памятные листки о перстнях, о травах; вообще содержание отобранных «противнейших» документов было, как я уже сказал, весьма разнообразно.

Некоторые из документов – таковы все любовные записки Монса, письма той же материи к нему от Петра Балка, Матрены Ивановны или Функа и Бретингама, а также и письма голштинцев, относящихся до исканий герцога, – все эти бумаги были, по воле Петра, немедленно переведены на русский язык.

Государь, по не вполне ясному разумению немецкой грамоты, боялся проглядеть какого-нибудь слова, мало-мальски разъясняющего дело. Было ли найдено письмо сильненькое «с рецептом о составе питья, ни про кого друго, что ни про хозяина» – неизвестно.

Не видно по дошедшим до нас бумагам, имел ли Петр объяснение с Екатериной. Иностранцы, разумеется, живописуют по этому поводу целые сцены, рассказывают, как государь, в припадке гнева, раздробил громадное венецианское зеркало, как грозил он при этом супруге, что он так же вдребезги разобьет и ее существование; как фельдмаршал Репнин своим заступничеством спас Екатерину и проч., и проч. Подобными романическими подробностями нам бы весьма легко было оживить наш рассказ, но мы не хотим отступать от подлинных документов, по которым исключительно составлено настоящее исследование, и там, где молчат они, смолчим и мы. Это будет лучше, нежели повторять рассказы иностранных писателей, бравших многие факты из области собственной фантазии.

Понедельник, 9 ноября, проведен был знатно петербургскою крайне смутно. Громовая весть об аресте Монса передавалась шепотом, по секрету; в маленьких покоях Зимнего дворца (на этом месте нынче казармы лейб-гвардии Преображенского полка) как тени сновали испуганные денщики и перетрусившие фрейлины; императрица заперлась во внутренних апартаментах, а в канцелярии «кабинета» в ворохе

захваченных бумаг нетерпеливо рылся государь. Этот день, казалось, не мог не потрясти его души; в разгар настоящего события Петр вспомнил, что он еще не сделал никакого распоряжения насчет преемства престола, лучше сказать, что дети его еще «не пристроены», – и вот с обычной ему энергией он в несколько часов решается на то, что откладывал в течение четырех лет. Мы говорим об обручении его дочери Анны с Карлом-Фридрихом, герцогом Голштинским. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что чтение переведенных для него писем Цедергиельма, графа Велинга и графа Бонде ускорило его решимость.

На другой день, 10 ноября 1724 года, во вторник, в десять часов утра, к герцогу Голштинскому, опечаленному арестом его сторонника Монса, неожиданно явился Остерман. В получасовой секретной аудиенции с его высочеством Остерман именем императора объявил, что государь твердо решился покончить дело герцога и что обручение должно совершиться в Катеринин день. Назначенье для этой церемонии дня ангела государыни – дело непонятное. Хотел ли государь сделать удовольствие супруге, давно уже желавшей этого брака, и в таком случае, кажется, нельзя сомневаться, что Екатерина имела с мужем объяснение, и оно кончилось для нее как нельзя лучше; или же государь имел какие-нибудь другие виды? Вообще надо прийти к одному из следующих заключений: Екатерина с обычным искусством успела вновь возбудить любовь к себе государя, сумела совершенно оправ-

даться; Монс не показал ничего для нее опасного, прешел многое молчанием и жизнью запечатлел к ней свою преданность, или же, наконец, Петр узнал грустную тайну, до сих пор известную всем, кроме его самого, но решился не чинить страшного розыска над той, которой обязан был многими счастливыми днями своей жизни.

Последнее заключение, как оно ни противоречит мстительному, ничем не сдерживаемому характеру Петра, тем не менее кажется вернее других.

В то же утро, как Остерман сообщал герцогу вожденную весть, Монс вновь приведен был к государю.

Допрос произведен был среди величайшей тайны. На бумагу тайна не была передана; письменные допросы, ответы и отписки касались только взяточничества. Те и другие записаны Черкасовым. Вопросы очень коротки, делались как бы нехотя, не вполне, как бы единственно только для соблюдения формы следствия; ответы Монса многословны, беспорядочны: ему, видимо, было нелегко вспоминать о множестве лиц, его подкупавших, и, вспоминая их одного за другим, важного за неважным, он облакал получаемые им презенты в форму дружеских подарков.

Камергер не знал, что лукавство ни к чему не поведет, что необходимость его казни для Петра до такой степени обозначилась, что даже не станут дополнять и проверять его ответы показаниями лиц, его даривших.

«Скажи о челобитной Хитрово в деревнях, – спрашивали

Монса, – о заемном письме его тебе в 500 рублях, также о письме Макарова к графу Матвееву, с требованием прислать то дело в кабинет?»

«Подával ли сам Хитрово свою челобитную ея величеству, – отвечал Монс, – или я у него принял, не помню; но Хитрово (действительно) просил у меня вспоможения в деле с Дашковым и обещал за то 500 рублей... Из них привез 200 в зачет даннаго им мне заемнаго письма, а по окончании дела обещал достальные 300 рублей дать. Только я у него тех денег не требовал, а привез он их своею волею с прошением, чтоб принять, и письмо заемное таким же образом дал. Что до письма Макарова (по делу Хитрово), того не помню; о деле же самом нигде не прашивал; только государыня-императрица изволила приказывать князю Ромодановскому о решении того дела по указам государевым. А как дело из Юстиц-коллегии перешло к князю Ивану Федоровичу (Ромодановскому), того не знаю».

«О Любсовой жене?»

«Как Любсова жена била челом о своем отпуске (за границу), тогда я как ее, так и ея челобитье, по указу государыни, ея величеству представлял. Тогда Любша мне ничего не дарила; только в прошлом году на мои именины подарила: кусок кружев, потом еще два куска, да пред отъездом своим – 500 червонных. Тогда ж к именинам прислал Мейер вина (следует исчисление бутылок и бочек). Послал я к нему в нынешнем году роспись, и по той росписи прислал он мне

еще вина (следует исчисление). А больше того ни от Любши, ни от Мейера я ничего не бирывал».

«О письмах Льва Измайлова, что просил об указе в вотчинную коллегияю об отдаче деревень и обещал деньги?»

«Те деревни за государыней-императрицей; а чьи были, того не помню: только слышал от Кошелева, что после которой-то царевны ея величеству достались. И о тех деревнях Петр Измайлов бил челом ея величеству на Воронеж, понеже (не знаю почему) им те деревни надлежат. Ея величество изволила обещать отдать половину деревень, и о той половине Лев Измайлов за брата своего просил в Москве. Обещал (мне) 1000 рублей;¹⁷ но ничего не давал, а я не брал, и ныне те деревни не отданы».

«О псковских деревнях царевны Прасковьи Ивановны?»

«Царевна отдавала мне эти деревни, и я, польстясь на них, взял у нея духовную, которою крепки были оне ей, царевне, царицею Прасковьей Федоровной. Однако видя, что их невозможно за собой укрепить, я говорил царевне: „Ими не жалуйте, понеже оне не могут быть мне крепки, а подлогом крепить опасен“. Она на то сказала: „Коли деревень не возьмешь, то я тебе оброк с них пришлю“. Я и от этого отрицался. А потом, по прошению царевны, государыня изволила приказать оныя деревни, хотя она и о всех просила, в вотчинной

¹⁷ Здесь, таким образом, объяснение освобождения Василия Юшкова, фаворита царицы Прасковьи Федоровны. (Об этом эпизоде речь шла в книге «Царица Прасковья».) (Прим. автора.)

коллегии справить за ней, царевной, ей же и отсылать с них оброк, что и учинено. 600 рублей оброку на прошлый год к ней отослано, а она прислала их ко мне. Я принял. На сей год ничего не присылывала. Для отказа же тех деревень посылал надворнаго суда прокурора Тимофея Кутузова, для того, чтоб о них подлинную ведомость получить, что они стоят: я намерен был их купить. Печатные пошлины платил и отправлял для отказа из своих денег, и то чинил по указу Прасковьи Ивановны».

«О деревнях Стельса, что перешли к князю Алексею Долгорукову и против чего есть протестация Нестерова?»

«Я в этом деле никакого старания не употреблял; а просил меня он же, князь Алексей Долгоруков, о справке за ним, по указу, деревень отцовских, чтоб ему в том споможение учинить. И по тому прошению говорил я Сухотину, президенту вотчинной коллегии, чтоб по указу решение в деле Долгорукова учинил. А понеже Долгоруков мне издавна друг, то по дружбе подарил он мне девять кобыл вороных на завод; а я ему отдал собаку во сто червонных, что подарил мне герцог Голштинский».

«О письме Корчмина, что имеет дело с Сумским полком в землях?»

«Письмо это дал мне Корчмин для памяти того дела с прошением: доложить о нем ея величеству. Но я ничего по нем не делывал, понеже исследовать о том велено полковнику Чернышеву».

На общий вопрос, что и от кого он получал, Монс отвечал следующим, значительно им укороченным, списком:

«Как свободили Василья Юшкова из-за караула, тогда государыня послала меня с ведомостью о том к царице Прасковье Федоровне. Царица дала мне 1000 рублей, Юшков потом дал другую 1000, да сервиз серебряный – в июле 1724 года – с прошением: содержать его в протекции у государыни императрицы».

«Бывший архимандрит троицкой Писарев просил доложить императрице об отдаче ему сундука; ея величество указала архиерею Феодосию отдать архимандриту сундук; архимандрит дал мне (за это) 1000 рублей. Но потом, как эти деньги спросили в Синод, то я их паки отдал. Кто же принес мне грамотку от Писарева с обещанием дать мне 1500 рублей, если я возвращу ему на это время 1000, того не помню и нигде никакого старания о том не прилагал, и отдал тому Писареву первые 1000 рублей, а больше ничего не бирывал. Интересовался ли в этом деле Макаров – не знаю и от него о том деле не слыхал».

«В нынешнюю бытность мою в Москве крестьянин села Тонинскаго – Солеников просил меня, чтоб его по торгам и по богатству в посад не записывать; понеже он заводил игольный завод, купил к нему деревню и в магистрат подписался, что ничем не торговал. По указу государыни Солеников определен в стремянные конюхи и за то он подарил мне 400 рублей».

«Яков Павлов, как взят ко двору в пажи, дал мне на именины часы. Я их продал».

«Светлейший князь (Меншиков) прошлаго лета подарил лошадь с убором».

«Князь Василий Долгорукой дал парчу на верхний кафтан».

«Александр Нарышкин – две кобылы на завод».

«Архимандрит троицкой Гавриил меня ни о чем не прашивал и ничем не даривал».

«Малевинской просил меня по своему делу, чтоб доимки не править; но я по тому прошению ничего не дельывал, ничего не бирывал, а что он обещал, того не помню».

«Отяев просил меня в тяжбе его с Волковым; говорил я о том Ягужинскому. По цидулке своей Отяев 100 червонных не даывал, только по старой дружбе подарил он мне двух собак, да с ними охотника на время. А Павла Ивановича (Ягужинского) просил я о неоставлении Отяева, рекомендуя его только добрым человеком».

«По мемориям о Брянчанинове, Войнове, о Василье Глебове ничего не дельывал и они мне ничего не даывали».

«Петр Салтыков просил о деревнях, взятых у него ко дворцу. Но я ничего для него не производил; он меня не дарил, а дарил ли кого из моей фамилии, того не знаю».

«О выморочных деревнях Мартемьянова, по челобитной Камынина, нигде не прашивал; колпак да камзол тканый, да 1000 рублей с него не бирывал; взял только, хваля мастер-

ство, кошелек работы их домового ткача».

«За архиерея Дашкова никого не прашивал; двух же чалых лошадей подарил он мне без всякаго дела».

«О Якове Павлове просил я государыню, чтоб отпустила его от двора сержантом, но за это я ни с отца Павлова, ни с него и с брата ничего не бирывал».

«Лев Челищев подарил иноходца, чтоб исходатайствовать ему чин и заслуженное жалованье».

«Денег моих лежачих, ни в торгу, ни у кого нет, кроме того, что обретается в моем доме». Подписал: «De Monso».

Спросили подтверждения показаний только у одной царевны Прасковьи; потому ли, что взятка, данная ею душами и крестьянскими животами, была крупнее прочих или по другим каким соображениям – неизвестно.

Смущенная царевна призвана была к государю; в его присутствии она должна была вывести своим крайне дурным почерком следующие слова:

«Дала я Монсу деревну для того што все в нем искали штобы добр...»

На последнем слове государь остановил Прасковью: достаточно было для суда и трех слов, остальное царевна могла дополнить устно; притом же Петру, в его нетерпеливом желании завершить дело возможно скорее, было вовсе не до Прасковьи.

Привели между тем Балка. Его не мучили длинными вопросами; государь удовольствовался одним: «Балакирев

объявил, что вы всю фамилию приходили к Монсу и со слезами просили его, чтобы он Столетова от себя бросил; буде же не бросит, то Столетов его укусит, и Монс может от него пропасть; а на те слова Монс отвечал: виселиц-то-де много! Вы всю фамилию к нему приходили ли, такие слова говорили ли, ответ от него был ли и для чего вы ему те слова говорили?»

«Такие слова говорил я со всей фамилией Монсу для того, что о Егоре сказывал адмирал (Федор Матвеевич Апраксин), у которого Егор прежде служил: „Егор бездельник, я им был недоволен и хотел его сбить со двора“. Также Ягужинский говорил Монсу: „Брось Егора, он твоим именем много шалит, чего ты и не знаешь“. А я с фамилией, – продолжал Балк, – за Столетовым никакой не видали шалости, а говорили так со слов адмирала да Ягужинского; на что и ответил нам Монс: „Ежели Егор какую пакость сделает, то виселиц много!“

Монса увели; Балка отпустили.

Государь, утомленный допросами, ушел обедать; после стола по обыкновению отдохнул и вечером отправился на именины к капитану Гослеру. Пирушка длилась долго; государь – так свидетельствует очевидец – «был очень весел».

А в кружках петербургского общества не смолкал говор об аресте и допросах Монса; старики говорили осторожно, молодые болтали смелее.

Так, 11 ноября, сержант Апраксин рассказывал любопыт-

ному Берхгольцу: «Монс эти дни сидел под арестом в своей комнате, стерегут его часовые; теперь перевезли его в Зимний дворец, где заседает верховный суд;¹⁸ допрос делают под большую тайною.

Монс в эти дни страшно изменился; с ним от страха был удар; впрочем, он стоит на том, что не знает за собой никакой вины. Матрена Ивановна Балк от страха все еще очень больна и не встает с постели».

Так рассказывали при дворе герцога Голштинского; другие сведения в тот же день собрал саксонский посол Лефорт. «Сегодня, во вторник, – писал он к своему двору, – Монса опять приводили к допросу. И он, как говорят, тотчас во всем признался, так что не нужно было употреблять пытку. В тот же день императрица просила у государя помилования Монсу; ей отвечали просьбой раз навсегда – не вмешиваться в это дело. Впрочем, та велела сказать генеральше Балк: „Не заботьтесь о своем брате, арест его не будет иметь дурных последствий“.

Известия Лефорта достовернее: Монс вполне повинился. Если показания его на бумаге были не совсем чистосердечны, то мы вправе думать, что он был искреннее на словах. Иначе решительно непонятно, как он мог избежать пытки? Если пытали по делам совершенно ничтожным, то могли ли обойтись без истязаний «в деле первой важности?» Таким,

¹⁸ Под этим названием в 1719 г. была постоянная комиссия по разным судебным делам первой важности. (Прим. автора.)

по крайней мере, считали дело Монса. Но немудрено, что пытка на этот раз оказалась делом лишним; в самом деле, тот, кто от единого страха упал в обморок, тот, кто вел жизнь среди роскоши и неги, мог ли вынести мысль о том, чтобы перенести пытку? Понятно, что, не дождавшись ее, он принес полное сознание. Только им он мог спасти как себя, так и придворных слуг и служительниц от кнута на дыбе и жжения пылающими вениками.

Между тем допросы продолжались. 11 ноября 1724 года, в среду, дошла очередь до Столетова; поданное им своеручное показание относилось до взяток Монса.

Так, Столетов, рассказал некоторые подробности относительно крупной взятки царевны Прасковьи Ивановны.

«Когда царицы Прасковьи Федоровны не стало, – повествовал Столетов, – тогда ее дочь, Прасковья Ивановна, отдала Монсу духовную мамы своей, боярыни Бутурлиной; а в той духовной мама была челом царевне вотчиною своей, селом Оршо, с деревнями в Пусторжевском уезде. Виллим Монс объявил духовную мне, да секретарю вочинной ее величества канцелярии Арцыбушеву и требовал резону: каким образом по этой бумаге можно получить деревню? Я, рассмотря духовную, объявил: „Надо, мол, справиться: закреплена ли та деревня за Прасковьей Ивановной, и если еще за ней не справлена, то она нас жалует чужим; а узнать о справке надо в вотчинной коллегии“. По моему объявлению, Монс докладывал государыне, и ее величество позволить высоко-

благоизволила в той коллегии справиться. Я справлялся и нашел, что вотчина нигде и никак за царевной не справлена. Тогда это поручили сделать Арцыбушеву, понеже весь того дела порядок чрез него обращался. А и я посылан был по тому ж делу в вотчинную коллегию, с указом императрицы, чтоб (ежели надлежит) то за ея величеством ту вотчину справить. И вотчинная коллегия о справке чинила немедленно исправление».

Из этого рассказа видно, как домогался Виллим Иванович подарка царевны Прасковьи; никаких, следовательно, отказов с его стороны и особенной навязчивости со стороны дарительницы не было и в помине. Судя по этому, можно быть уверенным, что и остальные показания Монса по поводу его взяток не менее им смягчены и искажены.

К сожалению, о других немного сказал его пособник и секретарь Столетов.

Назвав князей Алексея Григорьевича да Василия Лукича Долгоруких, секретарь объявил затем: «Что принадлежит до взяток с партикулярных персон, ничего не знаю, понеже от всех дел таковых, кроме партикулярных ея величества, весьма чужд от Монса учинен, по зависти и обнесению ему на меня фамилии его, которая так его преогорчила на меня, как известно, что он и виселицу обещал».

Уклонившись таким образом от разъяснения проделок Монса, секретарь пояснил, что он принужден был искать своего в должности определения. «А определения сего, – пи-

сал Столетов, – и доньне у него не сыскал. Взял меня Монс в свою команду, обещал всякое благополучие, вместо которого и весьма неравного обрел себе таковое злключение, от которого принужден всякой в моей жизни надежды лишиться, токмо имею на великодушное его величества милостивое рассмотрение надежду; и для того, в чем я собственно виновен, приношу мое чистейшее покаяние».

В порыве покаяния Столетов представил небольшой список своих «винностей», всего только три:

«Принял я от служителей государыни, двух Грузинцовых, две лошади с тем, чтобы со временем в приключившихся нуждах их, по возможности своей помогать; что я и чинил по совести, без утраты антересу ея величества».

«Князь Алексей Долгоруков благодарил меня за старания по его делу об отцовском наследстве (то дело и доньне за ним не справлено для некоторой претензии одного из его братьев); прислал он мне на камзол парчи золотной, бахрому и сукно, да потом подарил жеребчика; а принял я все то, не вмения во взятки, но в благодеяние и приязнь, для того, что услуги мои были ни по его прошению, но по указу ея величества».

«Да царевна Прасковья Ивановна за объявленное мое старание (в деле о передаче вотчины Монсу) пожаловала мне 320 рублей в разное время, с тем, чтобы я приводил Монса, а он бы государыню, чтоб ее, царевну, содержать в милости своей изволила и домашнее бы им определение учинила.

В вышеписанном во всем, – заключал исповедь Столетов, – прошу у его величества великодушного рассмотрения и милостиваго помилования».

Помилования не было.

12 ноября проведено было судьями, как кажется, в окончательной переборке захваченных бумаг, быть может, и в допросах, но они либо не дошли до нас, либо вовсе не были записаны, либо не попали в бумаги, ныне хранящиеся в Государственном архиве, в С.-Петербурге, нами внимательно исследованные (в 1862 году).

Монс продолжал содержаться под караулом, по одним известиям – в доме Ушакова, по другим – переведен был в свой собственный дом, на речку Мью (Мойку). Столетов и Балакирев (последний после прогулки в крепость) все еще заперты были в пустом Летнем дворце на Неве, у истока Фонтанки, где еще недавно можно было видеть темную каморку с решетчатым оконцем в дверях.

В пятницу, 13 ноября, рано поутру страшный вестник несчастья Андрей Иванович Ушаков предстал пред Матронею Ивановной, измученной страхом и надеждой.

Генеральша волею-неволею должна была подняться с постели; ее увезли в дом «инквизитора» (так назывались тогда в официальной переписке члены страшной Тайной канцелярии) и – так говорили в городе – заперли в той самой комнате, где сидел несколько дней ее брат.

Множество часовых оцепляло здание, вид которого

невольню внушал страх и трепет в жителях Петербурга.

Вслед за Матреной Ивановной арестовали ее сына, придворного щеголя и красавца Петра Федоровича Балка. Ему пока объявлен был арест в своем доме или в доме матери. Вообще нельзя не подивиться той необычной деликатности, если можно так выразиться, которую явил государь в настоящем случае. Арестации были невелики, делали их «без великаго поспешения»; взятых под арест не влекли в крепостные казематы; ноги взятых персон, искусившиеся в ассамблейных танцах, не ставили в ремень, выхоленные руки не ввертывали в хомут, кнут не бороздил их спины. Словом, государь или стыдился являть жестокость по делу, слишком близкому его сердцу, или же Екатерина, по народному выражению, «своим волшебным кореньем» продолжала и в эти страшные минуты «обводить», т. е. смягчать, ублажать государя.

В чем состоял устный допрос Матрене Ивановне со стороны государя, мы не знаем; то же, что было записано с ее слов, отличается необыкновенным лаконизмом. По всему видно, в такой «объявившейся за ея семейством материи», каковы взятки, ей не позволили много распространяться.

Перепуганная донельзя, Матрена Ивановна в течение двух дней 13 и 14 ноября вспоминала и диктовала Черкасову имена своих дарителей. В этом списке были лица всех состояний, званий и обоого пола.

Представляем имена их в некоторой постепенности.

«Брала я взятки, – винулась Матрена Ивановна, – с:

Служителей Грузинцовых 100 рублей с тем, чтоб говорить Монсу о рассмотрении их дела.

Купецкой человек Красносельцов дал 400 рублей за заступление в деле князя Василия Долгорукова, назад тому лет десять (вернее, в 1718 году).

Купчина Юринской, бывший с послом в Китае, подарил два косяка камки и китайский атлас.

Купец иноземец Меер 300 червонных.

Капитан Альбрехт долгу своего на мне уступил 120 рублей.

Сын «игуменьи», князь Василий Ржевский, закладные мои серьги в 100 рублях отдал безденежно, в то время, как имел дело с князем Хованским.

Посол в Китае, Лев Измайлов, по приезде оттуда, подарил три косяка камки да 10 фунтов чая.

Петр Салтыков – старый недорогой возок.

Астраханский губернатор Волынский – полпуда кофе.

Великий канцлер граф Головкин – двадцать возов сена.

Князь Юрий Гагарин – четыре серебряных фляши.

Князь Федор Долгоруков – полпуда кофе.

Князь Алексей Долгоруков дал, по моему прошению, старую коляску, да шестерик недорогих лошадей.

Светлейший князь Меншиков на именины подарил мне маленький перстень алмазный, а потом 50 четвертей муки.

Его высочество герцог Голштинский – два флеровых

платка, шитых золотом, и ленту».

Не менее обильна была жатва генеральши с прекрасного пола. Ей презентовали:

«Купчиха Любс – парчу на кафтан, штофу шолковаго на самар.¹⁹

Баронесса Строганова – балбереку 30 аршин.

Баронесса Шафирова, жена бывшего вице-канцлера, – штоф толковый.

Княгиня Черкасская – атлас китайский.

Княгиня Долгорукова (жена посла князя Василия Лукича) – опахало.

Княгиня Анна Долгорукова – запасу разнаго.

Княгиня Анна Ивановна Голицына – то же.

Княгиня Меншикова на имянины ленту, шитую золотом.

Царевна Прасковья Ивановна – 400 или 500 рублей, того не помню, за убытки мои, что в Мекленбурге получила (в бытность гофмейстериною при Екатерине Ивановне); от нея ж кусок полотна варандорфскаго и запасы съестные в разное время; запасы те за то, чтоб просила о ея домовом разделе с сестрами.

Царевна Анна Ивановна, герцогиня Курляндская, прислала старое свое платье.

Царица Прасковья Федоровна подарила 200 червонных за

¹⁹ Самар – здесь, возможно, имеется в виду «симара» – платье итальянского происхождения, свободного покроя (не сшитое по бокам, а только придерживаемое поясом).

убытки мои в Мекленбурге.

Да ныне (в 1724 году), – каялась Балкша, – в Москве, из многих господских домов присылавали мне овса, сена и протчаго всякаго запасу домоваго, а сколько и когда, не помню».

Чтоб помочь ослабевшей памяти сестры и брата, обратились к гласности!

В ту же пятницу, 13 ноября, пополудни кортеж солдат, имея во главе нескольких барабанщиков и одного чиновника, прошел по улицам и площадям столицы. На барабанный бой сбежался народ; ему велегласно объявили, что так как камергер Монс и сестра его Балк брали взятки и за то арестованы, то каждый, кто что-нибудь знает об этом или кому доводилось давать им, то тот, под страхом тяжкого наказания, должен непременно заявить о себе. Такие же извещения прибили на стенах.

«После таких публикаций, – в тот же день заговорили в публике, – после такого объявления дело арестантов примет весьма опасный оборот. Говорят, что они во многом уличены из собственных их писем».

Улик действительно оказалось так много, что арестантов без дальнейшего следования предали «вышнему суду». Непременным результатом его заседаний (этого желал государь, того же требовали его указы) должна была быть казнь.

Х. Казнь камергера Монса (ноябрь 1724 года)

Утром в субботу, 14 ноября, члены «вышнего суда» съехались в Зимний дворец.

Пока не привели еще подсудимых, назовем имена грозных судей; всех их девять человек: Иван Иванович Бутурлин, Иван Бахметев, Александр Бредихин, граф Яков Брюс, Семен Блеклый, Иван Головин, Иван Дмитриев-Мамонов, граф Иван Мусин-Пушкин и наш старый знакомый Андрей Иванович Ушаков.

Есть ли необходимость знакомиться с ними поближе? Заглянуть в их прошлое, узнать значение каждого из них при Петре, их характеры – все это для того, чтоб вернее возможно было судить те мнения, которые услышим в заседании? Едва ли это нужно, и не потому, что это было бы не по нашим силам, – нет, со всеми этими лицами мы не раз встречались в наших очерках петровского времени, мы их знаем близко, но здесь рисовать их портреты было бы совершенно напрасно. Дело в том, что мнений, толков, споров, рассуждений мы не услышим со стороны «вышнего суда». Да не для них он и созван; рассуждений недолюбливает державный господин. Дело «вышнего суда», как и всякого коллегиального учреждения Преобразователя, было прежде всего слепое выполнение

его указов. Вот все, что от него, в сущности, требовалось.

«Вышний суд» понимает это как нельзя лучше. Итак, оставя рассуждения, удалимся. Кто-то (без сомнения, Черкасов) читает знакомые уже нам допросы и ответы; не станем же мешать слушать судьям.

Чтение и заседание заключились общим определением: «Выписать указы его императорского величества, по которым те дела судить, и съехаться всем для того завтнешняго, то есть 15-го числа сего ноября месяца, в 5-м часу пополудни».

В то время, как в одной из низких, полутемных палат тогдашнего Зимнего дворца идет чтение «секретно-уголовнаго» дела, по улицам вновь трещит барабанный бой, вновь вызываются доносчики на взяточничество Монса, Балкши и всей их фамилии.

Отныне никто не сомневался, что дело кончится плохо. В «публике» говорили, что объявилось много лиц, дававших Мон-су подарки.

К сожалению, нам неизвестно, кто именно в этот же день являлся. И являлись ли те бароны и баронессы, князья и княгини, наконец, царевны и герцог, племянницы государя и, наконец, будущий зять его, которых так бесцеремонно окрестил указ 13 ноября 1724 года плутами?

Едва ли кто-нибудь из них дерзнул «не объявиться» таким плутом, после двукратного, всенародного вызова. Каждый и каждая, сколь плутоваты ни были, а не могли рассчитывать,

что сумеют вывернуться в случае заперительства от монаршего гнева.

Ноябрьская ночь покрывала еще своим черным пологом «Питербурх». В грязных лачугах подымались мужички-рабочники, десятками тысяч согнанные со всех концов России на страдный труд да на смерть от холода, голода, скверного климата и тяжелой работы – создания новой столицы Российской империи. Сквозь закрытые ставни деревянных домиков редко-редко где начинал брезжить свет лучины, или сальной маканой свечи, или лампадки; под навесами деревянных гостиных дворов да за запертыми воротами лаяли псы. Город только что просыпался, а «вышние» судьи спешили уже на Луговую улицу, что ныне Миллионная, в тогдашний небольшой Зимний дворец.

Расторопный Черкасов еще накануне подыскал приличные делу указы и составил по ним приговор. Подойдем поближе и, прочитав его вслед за судьями, расскажем вкратце содержание.

Судьи, как видно из этого документа, признали за Монсом «следующия преступления в его должности: 1) взял он у царевны Прасковьи Ивановны село Оршу с деревнями; справил их сначала за царевной, а потом одну деревню перевел в ведение вотчинной ея величества канцелярии; оброк с той деревни брал себе. 2) Для отказа той деревни посылал он бывшего прокурора воронежскаго надворнаго суда – Кутузова, без сенатскаго разрешения. А по указу 5 февраля 1722

года, без повеления Сената дворяне ни к каким гражданским делам не должны быть определяемы; а если к какому делу определяется дворянин, то он на то дело должен иметь письменный указ. Кроме того, Кутузов судился, по некоторому делу, в московском надворном суде и обязан был подпиской никуда не выезжать; Монс на то не посмотрел и именем государыни-императрицы послал в Москву указ: Кутузова по тому делу не истязывать и отлучку его в вину не ставить. 3) Взял он, Монс, четыреста рублей с посадскаго человека Соленикова и сделал его за то стремянным конюхом ея величества; по указу же 13 апреля 1722 года велено всех выходцев из посадских выслать в посады, за которыми их и записать».

Вот три преступления, которые, по исследованию «вышнего суда», объявились за Монсом. Первое из них подтверждено было собственноручным показанием царевны Прасковьи, второе – сознанием Монса, третье – свидетельством Столетова.

Судьи не тратили время на разыскание о множестве остальных статей камергерского взяточничества; первых трех было достаточно для законности приговора, и он завершился небольшой выпиской из законов. Прочтем и ее:

«Вышеписанные преступления учинил Монс в своей должности, понеже он над всеми вотчинами ея величества и над всем управлением командиром был. А в указе его императорскаго величества, 25-го октября 1723 года, написано: кто в каком ни есть деле, ему поверенному, и в чем его долж-

ность есть, а он то неправдою делать будет, по какой страсти, ведением и волею, такого, яко нарушителя государственных прав и своей должности, казнить смертию натуральною или политическою по важности дела, и всего имения лишить».

На основании следующей затем выписки из Генерального регламента (гл. 50) взяточник за великие посулы должен быть казнен смертию или сослан вечно на галеры с вырезкой ноздрей и отнятием имения.

«А так как Монс, – заключал суд, – по делу явился во многих взятках и вступал за оныя в дела, непринадлежащая ему, и за вышеписанные его вины (мы) согласно приговорили: учинить ему, Виллиму Монсу, смертную казнь, а именье его, движимое и недвижимое, взять на его императорское величество. Однако нижеподписавшихся приговор предается в милостивое разсуждение его императорскаго величества». Подписали: «Иван Бахметев, Александр Бредихин, Семен Блеклой, Иван Дмитриев-Мамонов, Андрей Ушаков, Иван Головин, граф Иван Мусин-Пушкин, Иван Бутурлин, граф Яков Брюс».

Петр, по милостивом рассуждении, на поле доклада начертал собственноручно: «Учинить по приговору».

Достойно замечания, что подобных конфирмаций немного у Петра; мы хотим этим сказать, что многочисленные обречения на плаху либо виселицу в его время обыкновенно объявлялись по словесному указу его величества кем-нибудь из его «птенцов»: Ушаковым, Толстым и другими лицами.

Но здесь дело было близко сердцу: с одной стороны, являлось желание личного удовлетворения за свое оскорбление, с другой – хотелось прикрыть непохвальное чувство соблюдением всех формальностей.

Первое, однако, решительно выбивалось из законной формы; так, например, боясь замедлить исполнение приговора, государь не стал дожидаться ни определения, ни доклада суда о союзниках ненавистного ему камергера; он в то же воскресенье, 15 ноября, написал:

«Матрену Балкшу – бить кнутом и сослать в Тобольск».

«Столетова – бить кнутом и сослать в Рогервик на десять лет».

«Балакирева – бить батогами и в Рогервик на три года».

«Пажа Соловова – в суде высечь батогами и написать в солдаты».

«Павловых – в солдаты без наказания».

«Послать указ в Военную коллегия: Петра Балкова – капитаном, а брата его (пажа Балка) – урядником в гилянские новонаборные полки».

В этом списке мы находим четырех лиц, которых даже не допрашивали; по крайней мере, допросы их не были записаны: это младший Балк, Яков да Никита Павловы и паж Григорий Соловова. Что первый невинный двенадцатилетний мальчик обречен был в ссылку, тут нет ничего удивительного. В то страшное время, если туча государевой опалы разражалась над семьей, то гром и молния разили, за немногим

исключением, членов фамилии виновных и невинных; что касается до Павловых, то их, без сомнения, сослали за посулы Монсу, а главное, за буйство и драки, о которых мы знаем из предыдущих глав, а государь мог узнать при пересмотре бумаг Виллима Ивановича. Но за что высечен мальчик, паж Соловово, – неизвестно... Не был ли он посредником у Монса каких-либо интимных сношений, не приносил ли какие цидулы, не он ли служил Монсу дворцовым шпионом? Не он ли в час какой-нибудь сердечной беседы стоял настороже?.. Но некогда теряться в догадках.

Иван Антонович Черкасов, проводивши «вышних» судей, пишет указ в полицмейстерскую канцелярию Антону Девьеру для «публикования заблаговременнаго».

И вот, если бы мы могли пройтись в тот день по улицам Петербурга, мы бы прочитали на стенах домов следующую публикацию: «1724 года, ноября в 15-й день, по указу его величества императора и самодержца Всероссийскаго объявляется во всенародное ведение: завтра, то есть 16-го числа сего ноября, в 10 часу пред полуднем, будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу да сестре его Балкше, подьячему Егору Столетову, камер-лакею Ивану Балакиреву – за их плутовство такое: что Монс и сестра его, и Егор Столетов, будучи при дворе его величества, вступали в дела противныя указам его величества не по своему чину и укрывали виновных плутов от обличения вин их, и брали за то великия взятки; и Балакирев в том (?) Монсу

и прочим служил. А подлинное описание вин их будет объявлено при экзекуции».

Балакирев никем и не был обличен во взятках; он был виноват в другом: в переносе да в болтовне о «сильненьком» письме; предать это гласности нашли неудобным и вместо того ему присочинили вину.

Одновременно с известием о предстоящей экзекуции арестантов перевели в Петропавловскую крепость. Утром отведены были Матрена Балк, Столетов и Балакирев; после обеда отправили из кабинета Виллима Монса.

Когда проводили его по дворцовому двору, он увидел у окон великих княжон. Камергер раскланялся с ними и благодарил за оказанные ему милости.

Монса посадили в один из домов, бывших внутри крепости, едва ли не в тот самый, в котором замучили царевича Алексея.

В тот же день в городе говорили, что сам государь был у Монса.

– Ich bedaure es sehr, – сказал ему Петр, – dich zu verlieren, aber es kann nun einmal nicht anders sein.²⁰

Было уже темно, когда в комнату заключенного вошел тот, кто беседою во имя милосердного Христа должен был уладить последние минуты несчастного: этот утешитель был пастор Нацциус.

После христианского напутствия в жизнь загробную Монс

²⁰ Мне очень жаль тебя лишиться, но иначе быть не может (нем.).

остался один.

Кругом царствовала тишина; лишь изредка к арестанту доносились оклики часовых да бой крепостных курантов...

Стихи, плод собственного творчества некогда счастливо-го камергера, теперь, в предсмертную ночь, среди тяжкого раздумья о прошлом, могли прийти ему в голову. Между тем надежда на прощение весьма естественно не оставляла его. «Неужели премилосердная Екатерина, – мог думать Монс, – покинет меня, столь дорогого ей некогда фаворита?.. Но поддается ли государь ее мольбам? Строгость и твердость его известна. Нет, видно, смерти не избыть!..» И в думах о ней несчастный прощался с жизнью, со светом.

Оставим Монса одного с его думами, стихами, его надеждами и отчаянием.

За стенами его тюрьмы, в других казематах и казармах той же Петропавловской крепости сидят колодники и колодницы; они менее его имениты, едва ли сколько-нибудь вкусили счастья на белом свете, а выстрадали они не в пример его более. Мы разумеем страдания физические: над ними «чинили в застенках многие и долгие сыски и розыски не малые».

Войдемте в эти затхлые подвалы, под эти каменные, сыро-стью пропитанные своды. Вот в эту же ноябрьскую ночь 1724 года сидят здесь (что мы знаем из прочих дел Тайной канцелярии эпохи преобразования России): боцманская женка Авдотья Журавкина, три раза уже нещадно пытанная; весьма болезная, дряхлая от старости и пыток Маремьяна Андре-

ева; бабы – Акимья Исакова и Акулина Григорьева, последняя ждет решения своей участи с 1721 года, а вины всех их – «непристойныя слова про его императорское величество», страшное «Слово и дело!». Вот и распоп Игнатий Иванов страждет из-за болтливых баб: он слышал «вельми противныя к чести государевой слова» от Акимьи. Да беда! Мало проникся указами, повелевавшими о немедленном доносе таковых слов, мало усвоил требования сих указов. А вот тут же и раздьякон Матвей Непеин, протопоп Семенов, ключарь Емельянов, попы: Гаврилов, Никитин, Данилов, Осипов; дьякон Аврамов, иеромонах Корнилий, ключарь соборный распоп Яков Никитин – все эти лица томятся тут же в крепости; привезены они из Вологды. На них донес свой же брат поп; все они либо говорили, либо слышали да не донесли кому следует слова, «противныя к оскорблению чести пресветлаго монарха». Розыски, т. е. допросы с пристрастием, над ними идут: Никитина уже четыре раза подымали на виску или дыбу... И будут идти допросы об руку с пытками, и будут держать их в казенках Тайной канцелярии до тех пор, пока глава оной, Петр Андреевич Толстой, осторожно снесшись с Синодом, черкнет им: по указу, мол, его величества расстричь того или другого, кого еще до того не расстригли, вырвать ноздри, бить... ну и прочее в известном для того сурового времени роде... Тут же ряд нескончаемых годов томятся в злключении жертвы, так сказать, фискального увлечения: то ярославец Орлов да подьячий Попов. Доносы их

и дела, возникшие по ним, наполнили многие картоны розыскных дел Тайной канцелярии; многие, по их изветам, были оторваны от семей, от родителей или детей, многие были истязаны, были и казни, ссылки; доноскички получали награды!.. Внимание к их фискальной деятельности окрылило их воображение: не сдерживаемое благоразумием, оно привело к разным измышленным доносам; видно, награды за доносы были приманчивы... Изветчики дерзнули при этом коснуться в своих изветах лиц влиятельных – лиц, у власти стоящих... и вот прежние сотрудники Тайной сделались ее заточниками... Не станем, однако, перечислять толпу «политических» и иных преступников, бывших в описываемую ночь в Петропавловской крепости, скажем лишь, что в их обществе провел ночь Столетов и Балакирев.

Едва ли резонировал первый, шутил да балагурил последний.

Между тем по ту сторону Невы, близ Летнего сада, в доме, занимаемом герцогом Голштинским, царствует довольство, веселье.

Герцог, услажденный вестью о предстоящем обручении, весь исполнен счастья; его уже поздравили сановники русские, до сих пор задушевные его приятели только на перепойках; теперь и в трезвые минуты сделались они приветливей, любезней. Герцог занят расчетами о подарках для невесты, увлечен мечтами о своем значении, о тех средствах и том могуществе, которое получит с русской цесаревной. Од-

но только неприятно ему, мечта его двоится: он не знает еще, которую из великих княжон выдаст за него Петр – старшую или младшую? В грезах то о той, то о другой засыпает герцог...

Туманилась ли радость голштинского гостя мыслью о Монсе, главнейшем виновнике его счастья? Сомнительно, дело ведь обычное, что те, кому улыбнулось счастье, забывают тех, от которых отвернулась фортуна. Не печалился даже и Берхгольц; счастливый счастьем своего господина, он только дивился внезапности катастрофы, поразившей его бывшего приятеля.

«...Известие о казни Монса, – записал Берхгольц вечером 15 ноября 1724 года, – на всех нас произвело сильное впечатление: мы никак не воображали, что развязка последует так быстро и будет столь опасного свойства. Молодой Апраксин говорил (сегодня) за верное, что Монсу на следующий день отрубят голову, а госпожу Балк накажут кнутом и сошлют в Сибирь».

В понедельник, 16 ноября, рано утром на Троицкой площади пред зданием Сената²¹ все было готово к казни.

Среди сбегавшегося народа подымался высокий эшафот; на нем лежала плаха да ходил палач с топором в руках: мастер ждал своей жертвы. У помоста торчал высокий шест. Тут же можно было видеть заплечного мастера с кнутом да

²¹ На том же месте, где некогда повешен был князь Матвей Гагарин – царский наместник в Сибири. (Прим. автора.)

молодцов, выхваченных из серого народа: они должны были заменить, по обычаю того времени, подставки или деревянных «кобыл» позднейшего времени – на спины их вскидывали осужденных на кнутабойню.

В 10 часов утра конвой солдат показался из-под «Петровских» ворот крепости; за ним следовал Монс, исхудалый, измученный, если не физической болью, то нравственными страданиями. Камергер был в нагольном тулупе, шел в сопровождении пастора и, по-видимому, был довольно тверд.

Если верить немцу Берхгольцу (а на этот раз в рассказе о казни единоплеменника он мог, пожалуй, и подкрасить рассказ), то Монс, при выходе еще из тюрьмы, явил замечательную твердость. Он совершенно спокойно простился со всеми окружающими. При этом очень многие, в особенности же близкие его знакомые и слуги, горько плакали, хотя и старались, сколько возможно, удерживаться от слез.

На эшафоте прочитали тот длинный приговор, с содержанием которого мы уже знакомы. Выслушав его, Монс поблагодарил читавшего, простился с пастором, отдал ему на память золотые часы с портретом Екатерины, сам разделся, попросил палача как можно поскорей приступить к делу и лег на плаху. Палач исполнил просьбу...

Несколько минут спустя голова красавца мертвыми очами смотрела с шеста на народ; кровь сочилась из-под нее и засыхала на шесте.

У братниного трупа генеральша, бывшая гофмейстерина

и статс-дама, выслушала следующее: «Матрена Балкова! Понеже ты вступала в дела, которые делала через брата своего Виллима Монса при дворе его императорского величества, (дела) непристойные ему, и за то брала великия взятки, и за оныя твои вины указал его императорское величество: бить тебя кнутом и сослать в Тобольск на вечное житье».

Проводам в ссылку предшествовало пять ударов кнутом по обнаженной спине.

«Егор! – провозгласил подьячий Тайной канцелярии, обращаясь к Столетову, – понеже через дачу (т. е. взятку) добился (ты) к Виллиму Монсу в подьячие с намерением делать при дворе его императорского величества дела, противныя указам его императорского величества из взятков, что так и учинил, в чем и обличен. И за оное твое плутовство указал его императорское величество бить тебя кнутом и сослать в Рогервик в работу на десять лет».

Пятнадцать ударов.

«Иван Балакирев! – продолжал чтец, обращаясь к камер-лакею, – понеже ты, отбывая от службы и от инженерного, по указу его величества, учения, принял на себя шутовство и чрез то Виллимом Монсом добился ко двору его императорского величества, и в ту бытность при дворе во взятках служил Виллиму Монсу и Егору Столетову, чего было тебе, по должности твоей, чинить не надлежало, – и за ту твою вину указал его величество высечь тебя батоги и послать в Рогервик на три года».

Дано шестьдесят палок.

Были ли наказаны те, которые «дачею взяток» втягивали фамилию Монса и его слуг в дела «непристойныя»? На этот вопрос только отчасти можно ответить утвердительно; накануне камергерской казни за архимандритом Троицким Писаревым послан был гвардейский солдат; архимандрита требовали к ответу в Синоде; точно так же подвергнули допросу Кутузова; затем остальным «дачникам» взятку государь устроил казнь, делавшую честь и его уму, и его времени.

Допросы, пытки, заточение и телесное штрафование относительно всех их заменены были характеристическим распоряжением. На особых столбах, близ эшафота, в тот же день прибили «росписи взяткам». Без сомнения, была прибита роспись взяткам Монса, но до нас дошли только Балкши и Столетова. Объявления эти были в следующей форме: «Роспись взяткам Матрены Балкши:

1. С Еремея Меера – 300 червонных.
2. С Любсовой жены – парчу на кафтан да штоф шелковый на самар.
3. С Льва Измайлова – три косяка камки да 10 ф. чаю.
4. С царевны Прасковьи Ивановны – 500 рублей да кусок полотна варандарфского, да всякие столовые запасы.
5. С князя Алексея Долгорукова – 6 лошадей да коляску.
6. С Петра Салтыкова – возок.
7. С светлейшего князя (Меншикова) – перстень золотой, муки 50 четвертей да с княгини его ленту, шитую золотом»

и т. д.

Всех номеров в росписи двадцать три.

Здесь на публичный позор, вполне заслуженный, были выставлены между прочими лицами имена князей и княгинь: Долгоруких, Голицыных, Черкасских, Гагарина, графа Головкина, баронессы Шафировой, Артемия Волынского и других лиц, менее важных.

Этих менее важных лиц больше значилось в «росписи взяткам Егора Столетова». Но и здесь, в перечне четырнадцати имен подьячих, управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, выставлены были на общий с ними позор князя: Алексей Долгорукий и Щербатов-глухой, да царевна Прасковья Ивановна, столь неудачно расщедрившаяся на всех, кто только имел значение при Монсе.

Что было сильнее против взяток: плеть, кнут, топор да ка-торга или предание гласности имен взяточников и их дарителей?

В глазах Петра, необходимо было и то, и другое средство; и в настоящем случае, если все эти князья и княгини отделались одной оглаской, то это случилось вовсе не потому, что Петр находил излишним припугнуть их допросами и истязаниями (в случаях заpiresательства): нет, а просто потому, что ему в настоящее время был недосуг, да и истомилась его душа.

Петр, видимо, изнемог под бременем забот, сильной болезни и душевного огорчения; ему было уже не по силам за-

теять новый большой розыск, притом на этот раз не над сторонниками сына, а над своими собственными лукавыми и корыстными «птенцами».

Как бы интересно было послушать толки и пересуды, возникшие 16 ноября 1724 года в тогдашней публике и в простом народе над обезглавленным трупом Монса? В этих пересудах, вероятно, выразилось бы много интересного для характеристики того времени, отношений «серого» народа к золотокафтанным немцам, к Екатерине, отношений общества к правительству и проч. К сожалению, за неимением материалов, мы должны ограничиться тем, что думали и писали о Монсе и его деле немцы-современники и немцы позднейшего времени.

«Монсу прочитаны были, – пишет Берхгольц, – только некоторые пункты его вины... Вообще, – продолжает голштинский камер-юнкер, – многие лица знатного, среднего и низшего классов сердечно сожалеют о добром Монсе, хоть далеко не все осмеливаются показывать это. Вот уже на ком как нельзя более оправдывается пословица, что кто высоко стоит, тот и ближе к падению! По характеру своему Монс хоть и не был большим человеком, однако же пользовался немалым почетом и много значил; имел, конечно, подобно другим, и свои недостатки; может быть, уже слишком надеялся на милость, которую ему оказывали; но со всем тем он многим делал добро и, наверно, никак не воображал, что покончит так скоро и так плачевно».

Берхгольц, как приятель, наконец, единоземец Монса, не мог иначе и отозваться о нем. Отзыв его пристрастен. Монс положительно не мог вызвать сердечных сожалений многих лиц, а тем более из всех сословий. Так, например, под низшим классом общества едва ли можно разуместь кого-нибудь, кроме нескольких дворцовых лакеев, имевших в Монсе ходатая по их челобитьям; под средним классом можно ли разуместь кого-нибудь, кроме подрядчиков, приказчиков, управляющих, обкрадывавших императрицу и Монсом закрывавшихся от преследования? Жалели, наконец, «птенцы», но жалели, разумеется, до тех пор, пока не нашли другого «патрона», нового «милостивца» к их сутяжничеству, воровству, честолюбивым и властолюбивым проискам.

Пристрастный, хотя и осторожный, отзыв Берхгольца в начале нынешнего столетия был раздут Гельбигом в выпренные похвалы. Издатель «Russische Gunstlinge» так же умилился пред благородным характером Монса, как восторгался нравственностью его сестры – Анны Ивановны фон Кейзерлинг, рожденной Монс.

Спокойно и бесстрастно рассказал дело Монса только один немец, новейший историк России – Герман.

«В ноябре 1724 года, – говорит он в рассказе о царствовании Петра, – государь этот испытал в недрах собственного семейства глубокое огорчение; оно не могло остаться безнаказанным. Довереннейшими и приближеннейшими особами его супруги были: первый ее камергер Монс и его сест-

ра, вдова генерала Балка. Монс приобрел такое значение и такую благосклонность у Екатерины, что всякий, кто только обращался к нему с подарками, мог быть уверенным в исходатайствовании ему милости у императрицы. Петр сведал наконец о взяточничестве Монса, сведал в то же время и о близком положении его при Екатерине. Отношения эти не могли показаться Петру дозволительными и невинными. Монс и его фамилия были арестованы, преданы суду, обвинены в лихоимстве. Впрочем, – продолжает Герман, – из донесения австрийского посла, графа Рабутина, очевидно, что это обвинение служило лишь предлогом к казни Монса и его слишком услужливой сестры; преступления их были гораздо гнуснее» и проч.

И наказания, вполне заслуженные, постигли преступников. Петр был неумолим.

Матрену Ивановну Балк, по истечении шести дней, еще не оправившуюся от страха и боли, отправили в Тобольск. Ее конвоировали сержант с двумя солдатами.

Оба сына ее высланы в Гилян – один капитаном, другой унтер-офицером; паж Соловово и оба Павловы, первый, после сечения розгами, последние, без наказания, определены рядовыми в Преображенский полк.

Долее других задержали в крепости Балакирева и Столетова. Последний, четыре дня спустя после казни своего патрона, представил – вероятно, по требованию – новое добавочное показание о взятках Монса. В этом запоздалом обли-

чении Столетов сообщил о яхонте в 15 000 рублей: подарил его Монсу Лев Измайлов «с таким договором, чтоб исхода-тайствовать ему за подарок чин и деревню». Измайловский яхонт Монс поднес в презент Екатерине; камень был огранен и употреблен в коронационном уборе.

Как ни интересны были подобные рассказы, но Тайная канцелярия не стала требовать новых подробностей, видимо, боясь запутать в дело еще несколько влиятельных лиц – своих друзей или милостивцев: вот почему, не откладывая дело дальше, в декабре того же 1724 года Столетов с Балакиревым отправлены в Рогервик в каторгу.²²

Тело Монса с неделю лежало на эшафоте, а когда помост стали ломать, труп взволокли догнивать на особо устроенное колесо.

Между тем двор оживился официальными празднествами по случаю обручения герцога Голштинского с цесаревной Анной Петровной.

22 ноября подписан был свадебный контракт; только в этот день жених достоверно узнал, что из двух княжон ему достанется старшая. Полный восторга Карл на другой же день устроил серенаду под окнами государыни и невесты. Екатерина милостиво пригласила его в покои, поила из собственных рук вином, а государь ласково звал к домашнему столу обедать.

В Катеринин день совершенно было обручение.

²² Рогервик – бухта в западной части Финского залива.

7 декабря граф Петр Андреевич Толстой в собственном доме на Петербургской стороне, недалеко от крепости, давал торжественный обед. На нем была императрица с дочерьми, придворными дамами и кавалерами, был, разумеется, и герцог празднества – герцог со своей свитой. Не было только государя, потому что он еще накануне обедал у Толстого. Пиром заправлял весельчак и дорогой собутыльник Павел Иванович Ягужинский; следовательно, немудрено, что страстно влюбленный герцог опьянел. «По глазам императрицы, – отметил Берхгольц, – видно было, с каким удовольствием она смотрела на дружбу и любовь обоих высоких обрученных».

Удовольствие не могло не омрачиться другим зрелищем: на обратном пути из дома Толстого Екатерина, Анна, Елисавета, Карл, а за ними и вся свита, проезжали мимо колеса, с которого виднелся труп, опущенный снегом; с заостренного кола угрюмо смотрела на пышный поезд голова Виллима Ивановича Монса.

Нет сомнения, что дело Монса, как мы уже говорили, ускорило решимость Петра выдать дочь за герцога. Но, говоря словами Цедеркрейца, кроме «возстановления своего кредита» не имел ли при этом государь другой, более важной, цели? Неужели он обрекал любимую старшую дочь на незавидную судьбу быть герцогиней жалкого клочка Германии? Не имел ли он в виду завещать ей Россию? Не с этою ли целью начал он было писать завещание, из которого сохранилось несколько строк? Строки эти, как видно, прямо

относились к Анне Петровне:

«1. Веру и закон, в ней же радилася, сохрани до конца неотменно.

2. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче протчих.

3. Мужа люби и почитай, яко Главу, и слушай во всем, кроме вышеписаннаго...»

Намерению государя (если только оно было) завещать императорскую корону не жене, а старшей дочери не суждено было осуществиться: этому воспрепятствовало событие, которое и составит предмет следующей главы.

XI. Смерть императора Петра (1725 год)

Государь стал недомогать задолго еще до смерти. В письмах его к Екатерине довольно часто встречаются известия о его болезнях. То он страдает «чечюем», то завалами или расстройством желудка, отсутствием аппетита, то припадает с ним «ресь», вообще ему «мало можется».

В январе 1716 года, убеждая сына или «нелицемерно удостоить себя наследником», или быть монахом, государь прямо говорил: «Без сего дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал». По совету врачей Петр прибегал к пособию минеральных вод, пользовался ими и за границей, пивал воды и у себя, в Олонце, да в девяноста верстах за Москвой «на заводах», но вообще мало берегся. Сытные яства иль «Ивашка Хмельницкий» с батареями хмельных напитков сокрушали его твердость. Воздержание было не в его характере; да при его кипучей деятельности, при его порывистой, страстной натуре, ищущей широкого разгула, трудно было и совладать с требованиями диеты и регулярной жизни.

В 1722 году, во время персидского похода, у него открылись первые симптомы той болезни, которая низвела его в могилу. С этого времени недуги государя участились, и в

1724 году мы особенно часто находим его на лекарстве, одного, в теплой комнате, под запретом выходить на воздух.

Трудно было Петру выносить несносный докторский арест: его так и тянуло обойти свое хозяйство, полазить по верфи, испробовать ход того или другого из вновь выстроенных судов либо махнуть куда-нибудь на свадьбу, отвести душу на ассамблее. И вот, лишь только чувствовал он себя легче, тотчас запреты забыты, с крепостных верков петербургской «бастилии» раздавались выстрелы – сигнал, что государю легче и он разрешил себе кататься по реке. Следствием же преждевременных прогулок и пиров было возобновление недуга.

Возобновления страданий делались чаще и чаще; лето и осень 1724 года государь очень недомогал; волею-неволею он не расставался с лекарствами, но помощь от них была небольшая. Известный случай с ним осенью того же года на Лахте имел следствием сильнейшую простуду. До декабря недуг его то утихал, то снова увеличивался. Кажется, не будет смелым предположением, если мы скажем, что дело Монса, глубоко оскорбив государя, сильно потрясло его организм; а тут в день крещения новая сильнейшая простуда – и государь окончательно слег в постель.

Таким образом, смерть сразила его не в один удар. Она подкрадывалась к этому колоссу исподволь, в виде разных болезней. Народ это видел и в лице своих «ведунов» еще в начале 1719 года предвещал ему скорую кончину.

Так, однажды, в весенний день 1719 года, в десяти верстах от Петербурга, вверх по Неве, на кирпичных заводах, в кабачке угощалось несколько человек: тут были служители великой княжны Натальи Алексеевны и певчие князя Меншикова.

– Здравствуй, государь-царь Петр Алексеевич! – вскрикнул целовальник, осушая стопу пива.

– Здравствовал бы светлейший князь, – раздался голос одного из присутствовавших, – а государю недолго жить!..

Или вот зайдемте, например, в вольный дом (т. е. в трактир) на Выборгскую сторону, в приход Самсония-странноприимца. 15 января 1723 года мы застали бы здесь веселую «вечерину» у хозяина заведения, шведского полоненника Вилькина. Множество гостей, угощаемые хозяином, услаждались пением и игрой на гусях и скрипичах императрицыных певчих. С ними-то и вел «непотребную» беседу Вилькин.

– А сколько лет его императорскому величеству? – спросил он их между прочим.

– Пятьдесят четыре.

– Много, много ему лет! – молвил в ответ швед-ведун, – а, вишь, непрестанно он в трудах пребывает; надобно ему ныне покой иметь; а ежели и впредь, – продолжал Вилькин, – в таких же трудах станет государь обращаться и паки такую же болезнею занеможет, как четыре года тому назад был болен, то более трех лет не будет его жизни...

– Врешь ты все, дурак! – изругали ведуна испуганные музыканты.

– Нет, слова мои не от дурасти, а который человек родился на Рождество Христово или на Пасху в полночи, и тот, как вырастет, может видеть дьявола и станет признавать, сколько кому лет жить; сам я, например, проживу лет с десять. – И пошел говорить от Библии...

– Нет, – сказывали меж тем в колодничьих палатах Петропавловской крепости, – императорскому величеству и нынешнего года не пережить. А как он умрет, станет царствовать светлейший князь (Меншиков).

– Смотрите, – одновременно шептались солдатки, – государя у нас скоро изведут, а после и царицу, всеконечно, изведут же. Великий князь (сын Алексея) мал, стоять некому. И будет у нас великое смятение, – пророчески замечали вещуньи. – Разве государь толщину убавит, сиречь бояр, то, пожалуй, не лучше ли будет. А то много при нем толщины. И кто изведет его? Свои! Посмотрите, скоро сие сбудется!

С одной стороны, подобные предсказания, с другой – разные виденья давали обильную пищу народному говору. Да и как было не говорить: на колокольне Троицкого собора, что на Петербургской стороне, объявилось привидение. То не были сказки, толковала чернь да духовенство мелкой стати: часовые-де сами слышали стук и беготню этого духа: то кто-то бегал по трапезе, то что-то стремглав падало. «Недели эдак за три до Николина дня (1723 год), – рассказывал один

из часовых, – ночью, подлинно мне довелось слышать превеликий стук в трапезе; побежал я в камору, разбудил псаломщика и солдат караульных, и в то время в трапезе застучало опять так, яко бы кто упал».

Ночь на 9 декабря 1723 года проходила спокойно; пред часовым, сменившим прежнего рассказчика, лежала пустая площадь; в австериях и вольных домах (тогдашних трактирах и кабаках) потухали огни, умолкли брань и песни бражников, и на соборной колокольне «ординарные» часы глухо прогудели полночь.

Вдруг слышались странные звуки. По деревянной лестнице в колокольне кто-то бегал; ступени дрожали под тяжелыми шагами; привидение перебрасывало с места на место разные вещи. «Великий стук с жестоким страхом, подобием беганья» то умолкал, то снова начинался. Так продолжалось с час.

Наутро оглядели колокольню; стремянка-лестница, по которой обыкновенно лазили к верхним колоколам, оторвана и брошена наземь; «порозжий» канат перенесен с одного места на другое; наконец, веревка, спущенная для благовеста в церковь с нижнего конца на трапезе, на прикладе обернута вчетверо.

– Не кто другой, как кикимора! – говорил в тот же день за обедней соборный поп, относясь к своему дьякону.

– Не кикимора, – возражал тот, – а возится в той трапезе черт.

– Нет, пожалуй, что кикимора, а не черт, – замечает отец протопоп.

– Питербурху, Питербурху пустеть будет! – пророчествует дьякон...

И вот молва о том, что объявилась-де на Троицкой колокольне кикимора, не к добру-де она, электрическою искрою пробежала по площадям и задворкам столицы.

Пророчества ведунов, вещуный, знаменательные в глазах черни шалости кикиморы скоро осуществились.

28 января 1725 года «Питербурх опустел». Государь император Петр Алексеевич после мучительной тринадцатидневной агонии испустил дух.

За несколько дней до рокового расчета его с жизнью «во всем дому, – так повествует Феофан, – не ино что, токмо печаль общую видеть было и слышать. Сенаторы, архиереи, архимандриты, фельдмаршалы, генералы, штаб— и обер-офицеры, и от коллегий члены первейшие, а иные из дворянства знатные присутствовали; словом сказать, множество народа, кроме дворцовых служителей, палаты наполняло. И в таком многолюдствии не было ни единого, кто вид печали на себе не имел бы: иные тихо слезили, иные стенанием рыдали, иные молча и опустясь, аки бы в изумлении бродили или посиживали. Разный позор был печали – по разности, чаю, натур, не аффектов; ибо не надеюсь, чтобы и един такой сыскался, котораго бы не уязвляла смерть настоящая толикаго государя, героя и отца отечествия!

Печаль же болезни, – продолжает велеречивый Феофан, – самой государыни изобразить словом невозможно! Все виды страждущих и болезнующих в ней единой смешанные видеть было: ово слезы безмерныя, ово некакое смутное молчание, ово стенание и воздыхание; временем слова печальныя проговаривала, но честныя и приличныя; иногда весьма изнемогала. Так бедно и разнообразно страждущи, день и ночь мужеви больному приседела и отходить не хотела».

Государь меж тем леденел все более и более, и в начале шестого часа пополуночи 28 января 1725 года, под шепотом благочестивых напутствий и молитв тверского архиерея, испустил последний вздох.

На одре лежал посинелый труп, но присутствующие все еще думали, что в этом теле тлеет еще жизнь. Наконец сомнение исчезло.

«И тотчас вопль, которые не были, подняли; сама государыня от сердца глубоко воздохнула чуть жива и, когда б не поддержана была, упала бы; тогда же и все комнаты плачевный голос издали, и весь дом будто реветь казался, и никого не было, кто бы от плача мог удержаться!..»

«Вообще все люди без исключения предавались неопи-санному плачу и рыданиям. В это утро не встречалось почти ни одного человека, который бы не плакал или не имел глаз, опухших от слез. Говорят, что во всех трех полках (двух гвардейских и в одном гренадерском, составлявших гарнизон столицы) не было ни одного человека, который бы не

плакал об этой неожиданной и горестной кончине как ребенок...»

Умолчим о других проявлениях печали всего служилого сословия от Сената до солдатства включительно. «Но да отыдет скорбь лютая, – скажем словами Феофана, – Петр, в своем в вечная отшествии не оставил россиян сирых. Как-то бо весьма осиротелых нас наречем, когда державное его наследие видим, прямаго по нем помощника в жизни его и подобнаго владетеля по смерти его в тебе, милостивейшая и самодержавнейшая государыня наша, великая героиня и монархиня и мать всероссийская! Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быти подобной Петру-великому. Владетельское благоразумие и матернее благоустройство твое и природою тебе от Бога данное кому неизвестно?»²³

Кому неизвестно и то, что, вопреки широковещательным и льстивым глаголам Феофана, Екатерина не была наименована умирающим государем его преемницею? «Восшествие ее на престол, – по словам современника, – довольно чудным образом воспоследовало, ибо Петр-великий не с тем ее венчал царским венцом, чтобы ее наследницею своею учинить, ниже когда того желал». А между тем государь «еще не охладел мертвый, а уже не воля его, не право наследственное и привязанность к крови, но самовольное желание вель-

²³ Слово на погребение императора Петра, 1 марта 1725 г. Изд. 14 марта 1725, Спб. (Прим. автора.)

мож решило важнейшую вещь в свете, то есть наследство его престола».

Так или иначе, но бывшая некогда для Петра «свет-Катеринушка» села на престол, окруженная князем Меншиковым, графом Петром Толстым, Остерманом, Ушаковым, Феофаном и другими светскими и духовными «птенцами» ее предшественника...

Оставим их судить, рядить да править ее именем над миллионами народа; отправимся в толпы последнего, остановимся с его глашатаями да прислушаемся, что за приговоры изрекают они над усопшим монархом.

Весть о смерти Петра людьми несслужимыми, лучше сказать, сторонниками старины и врагами реформ монарха принята была с великою радостью. Ни ужасы пыток, ни кнута-бойни и вырезки языков не могли сдержать заявлений восторга «учителей» народа.

– Здравствуйте! Государь ваш умре! – радостно вещал поп Златоустовской церкви в городе Астрахани.

– Государь этот, – говорили старейшие раскольники, – приказал браны брить, немецкое платье носить и тем людям (его послушникам) там же быть, где и он, государь, обретается, сиречь во аде.

Так вещали упорнейшие из «церковных раскольников». Не останавливаясь на ввержении Петра в геенну огненную, эти исступленные изуверы, по словам официального донесения, изрекали хулы и на церковь.

Нечего и говорить, что никакие «увещевания» епископа и прочего духовного чина, никакие пытки не могли заставить поборников раскола отступить от своей религиозно-политической пропаганды. Некоторые из них, более слабые, сидя в тюрьмах, сами распарывали себе брюхо, чтоб преждевременною смертью спастись от грядущих истязаний, которые могли бы поколебать их стойкость в своих диких, доходящих до полного изуверства убеждениях.

В обществах подобных фанатиков созревали молодые провозвестники известного учения об антихристе. «Петр антихрист! Настали времена последние!» – вот с какими глаголами шли эти учителя из деревни в деревню, из одной станицы в другую в украинских областях нашего отечества. Прочитанная книга церковная, новое ли распоряжение правительства, стеснение ли прав духовного сословия, новые ли поборы, преобразования солдатства, война и прочие события – все это давало неисчерпаемый материал для «охулений» народу ненавистного монарха. Смерть его, как мы видели, не примирила с ним народных «учителей»; они изрекли, что Петр отправился туда, где уже давно приуготовлено было ему место толками народа, т. е. в ад крошечный. Такова была загробная участь «царя-антихриста». Но здесь, здесь-то, на земле, должна прогреметь над ним из рода в род анафема! Так думали самые горячие поборники учения об антихристе.

И вот в центре Москвы, столь нелюбезной покойнику, в

одной из келий Богоявленского монастыря, что за ветошным рядом, волею-неволею приютился для книжного обучения молодой монах. В течение четырех лет до этого времени он всюду, куда только ни бросала его судьба, весь преисполненный убеждения в правоте своего учения, проповедывал, что антихрист царствует. Теперь, когда пришла весть о смерти государя, молодой проповедник своеручно написал:

«Злочестивый, уподобльшийся самому антихристу, мерзости запустения, стоящей на месте святе, и восхитившему божескую и святительскую власть, бывый соблазнитель и губитель душ христианских, прегордостным безумием надменный держатель всероссийского царства, попущением божиим Петр, бывый великий, ныне всескверный император, со своими бывшими единомудрствующими да будет проклят!»

«И да будет тако, да будет тако, да будет тако!» – троекратно повторял молодой монах-изувер, перечитывая и толкуя им написанное другому иноку, своему единомышленнику и другу. Такого рода листки имелось в виду разбросать в народ.

Но если, с одной стороны, страшное слово проклятия так жестко и вместе с тем так нагло смело вырывалось из народа в плач и сетования знати и служилого сословия, то, с другой стороны, тот же народ, славный своим юмором, в то же время и в том же городе Москве осмеял «плакунов придворных» в сатире. Народные сатирики и карикатуристы представили

погребение ненавистного им Преобразователя и сетования над ним верноподданных в рукописной, а потом и в печатной притче: мыши kota погребают.

«Самая аллегория была не нова, – замечает проф. И. М. Снегирев, – но по поводу нового события, к которому ее применили, в ней прибавились новые фигуры мышей и весьма замысловатые объяснения, полные живых на Петра и его царствование намеков. Цель сочинителя была не одна забава и балагурство: он олицетворял в карикатуре освобождение слабых от гонителя, в утешение гонимым и в урок гонителям. Мышам он присвоил человеческие страсти: лицемерие, ненависть; внутренняя радость у них прикрыта наружною печалью. Так, „рязанская мышь горько плачет, а сама вприсядку пляшет; мышь татарская Аринка наигрывает в волынку, песни напевает, kota проклиняет“; знатные крысы, показывая притворную горесть, хотят kota утопить в помойной яме. Они не забыли, что у подновинской седой крысы кот изорвал зад, у охтенской изранил мышонка и т. д. В коте, чинно растянута со связанными лапами, в одном рисунке – на саях (которые обыкновенно означали погребальный одр, на каком выносили тела усопших царей из дворца в усыпальницу), на другом-на колеснице, „чухонских дровнях“, – в этом коте народ видел обидчика, в мышах – обиженных, в смерти же kota вообще освобождение и торжество других, отрадный конец гонениям».

В своем превосходном описании и исследовании «Рус-

ских народных картинок» Д. А. Ровинский приводит, между прочим, подробный текст картинки, изданной вскоре после 1725 года: «Мыши кота погребают».

Д. А. Ровинский, во всей подробности объясняя все намеки в этой картинке по отношению к императору Петру I в своем обширном исследовании (превосходно изданном в 1881 году Академиею наук), между прочим замечает: «Картинка „Мыши кота погребают“ – чисто русское произведение, ниоткуда не заимствованное, вполне оригинальное произведение народного буффа, в котором все подробности взяты прямо из русского обихода. Подробности эти, – продолжает Ровинский, – очень ясно указывают на цель и происхождение картинки: она представляет погребение Петра I и вместе с тем пародию на шутовские церемонии, которые он так любил устраивать». Доказывая это положение во всех подробностях, Ровинский, между прочим, замечает, что «народная сатира обозначила даже месяц, день и час смерти державного преобразователя (серый месяц, четверг, в шесто-пятое число, т. е. с пятого на шестой час); самое погребение представляет пародию на погребальную процессию 1725 года: погребальные дроги тянут восемь мышей; за ними следует музыка, точно так, как это было на похоронах 1725 года (с заменю 8 мышей восемью лошадьми в натуре, конечно); в процессии упоминается и участвует все то, что прямо или косвенно напоминает действия Петра I: идут мыши, представительницы недавно приобретенных и соседних с Петер-

бургом областей: Корелки, Охтенки, Шушера из Шлюшена с Ладожским сигом в руках; далее, в четырех местах помещены мыши татарские, которым от Петра пришлось особенно солоно; „мыши лазарецкия“, которыми переполнили землю русскую Петровы победы и баталии. Мыши от вольных домов из больших питейных погребов с чарками, братинами, корчагами, ушатами и скляницами напоминают шутовские процессии всепьянейшего собора, а мыши, которые идут „пешками, несут студеное кушанье мешками“, прямо указывают на постановление князя-папы иметь всегда наготове холодные закуски на случай приезда всепьянейшего собора. Некоторые из мышей в процессии должны представлять известные лица петровского времени, как-то: Савву Рагузинского, Стефана Яворского и других, об именах которых можно только догадываться. Затем не представляется надобности распространяться о том, кого разумел составитель картинки под именем котовой вдовы, чухонки адмиральши Маланьи».

Прошли годы. Умерла Екатерина, скончался второй император, ослабла со смертью Анны и немецкая партия, так глубоко пустившая корни на Руси при Петре, на престоле была дочь последнего, Елисавета, – а ненависть к Петру со стороны поборников старины не только не слабела, но росла и росла. Царствование дочери ненавистного старине и расколу Преобразователя, царствование, ознаменованное, меж-

ду прочим, сильным гонением раскольников, вызвало с их стороны не менее сильное противление. Тюрьма и пытка по-прежнему оставались бессильными. Резкому, энергическому и в высшей степени убедительному для черни слову поборников старины жадно внимал народ.

Вот, например, один из этих «учителей»: он сидит (в царствование Елисаветы) в палате Петропавловской крепости за раскол. Это петербургский купец, большой начетчик священных книг; пред ним лежит Апокалипсис: он толкует по нем со своими союзниками. «Ныне, – говорит Дмитрий Гаврилов, – в церковь ходят нечистые, и священники неправославное учение имеют; а в церковь ходят иноземцы и других вер. И которые люди в нынешней церкви причащаются, те недостойные», и т. д. в том же роде. «И в нынешней церкви образа новые и убраны жемчугом, а старые вынесены. Прежде крестились двуперстным сложением, а ныне крестятся триперстным сложением. И архиереи и попы настоящего (жития) по правилам святых апостол и святых отец ныне не имеют. Нынешние архиереи и попы и прочие люди нюхают табак, бранятся... и, приходя в церковь, разговаривают о собаках. И ныне в церкви не такое пение, как прежде было, а люди бреют бороды... И та церковь тех, которые крестятся двуперстным сложением и содержат старую веру, пытает и убивает, которые страдают за старую веру, и потому они святы».

На чем же основывает свою хулу обличитель грехов мате-

ри-церкви? На том, главным образом, что по учению, последователем которого он является, «церковь нестароверческая сидит на антихристе...»

Антихрист же – Петр!

«Первый император, – вещал раскол при Елисавете, – первый император староверов мучил. И которые замучены, все святы! И бил он (первый император) Ладожское озеро кнутом, и сына своего за христианскую веру казнил, и тем заповеди божии преступил, и потом умер. И при Елисавете Петровне народ в пагубу идет от несодержания старой веры...» А все оттого, что «первый император был зверь и антихрист» и т. д.

Из массы старых подлинных дел, нами пересмотренных, мы могли бы представить множество подобных ужасных заклятий, которые долго и долго еще раздавались со стороны простого народа, главным образом из рядов поборников раскола, ревнителей старины, раздавались над усопшим Преобразователем. Но нам кажется, что и представленные черты довольно ярко оттеняют настроение умов серого народа относительно Петра. А потому нельзя выводить того заключения, что русский народ того времени всецело видел в смерти Преобразователя какое-то испытание, ниспосланное Богом, какое-то сильное, повергающее в отчаяние, несчастье. Ничего подобного со стороны массы народа не было. Мы видели противное... Заметим при этом, что это противное объявлялось не со стороны только раскольников; разумеется, среди

них ненависть была упорнее, высказывалась чаще, сильнее, в течение большего числа лет; но «объявлялась» она зачастую и среди «нововерных» попов или среди шутников-грамматеев вроде восстановителей притчи: «погребение кота мышами»...

В то время когда бушуют страсти примученных поборников старины и народности, когда изрыгаются слова ненависти уже опочившему сном смерти властелину, что делает его преемница?

Она предоставляет первые необходимейшие распоряжения по внутренним и внешним делам Сенату, который и собирается в ее покоях; ласкает и осыпает подарками и почестями нареченного своего зятя, возвышает друга молодости – князя Меншикова, сидит, запершись, в своих апартаментах, куда, по ее указу, никого не допускают без доклада, кроме Меншикова, Бутурлина, Ягужинского, Девиера, Макарова и Нарышкиных; «с доклада же пускают по регламенту» только «по шестой класс»; выходит же сама Катерина Алексеевна только к гробу супруга.

ХII. Императрица Екатерина I (1725–1727 годы)

Первые месяцы царствования, по исконному обычаю, ознаменовались наградами ее приближенных, а также прощениями преступников и возвратом ссыльных прежнего царствования. Несколько иноземцев, затем известные «птенцы» Петра, бывшие в немилости, – барон Шафиров, Скорняков-Писарев, доктор Лесток – получили прежние чины и отличия. Протопопы, попы и дьяконы Покровско-Суздальского девичьего монастыря, всего шесть человек, страдалцы за преданность царице Авдотье, были возвращены из дальней ссылки и распределены по церквам на места. Странницы той же царицы Авдотьи и ее сына, вдовы: Варвара Головина, княгиня Настасья Троекурова, княгиня Марья Львовна, разосланные в 1718 году по монастырям в заточение, ныне получили право жить в каких угодно монастырях, хотя бы в московских. Вологодским шести духовным особам разного чина, судившимся «по важным противным словам» раздьякона вологодского собора Непеина, и некоторым другим колодникам смягчены наказания либо и вовсе сказано прощение. Из Сибири, по свидетельству современника, в марте 1725 года провезли человек двести ссыльных, возвращенных на родину: то были лица, пострадавшие за неприне-

сение присяги в 1722 году установленному Петром порядку престолонаследия. Надо думать, что прощение было им объявлено еще по случаю коронации Екатерины, в мае 1724 года.

Как бы то ни было, но в числе возвращающихся из разных мест ссылок неужели не было наших близких знакомых – Матрены Ивановны с ее сыновьями, неужели забыли и других пособников камергера Монса?

Нет, о них вспомнили, и вспомнили довольно скоро.

Еще тело императора стояло во дворце, еще только что возвещалось по улицам столицы о предстоящем церемониале его погребения, а Екатерина Алексеевна изрекла милостивое прощение своей довереннейшей подруге. Прощение дано было в форме указа ее величества из Сената на имя генерал-майора и лейб-гвардии майора Андрея Ивановича Ушакова. Что это за ловкий человек Андрей Иванович! Давно ли на него как на надежнейшего сыщика и застеночного «инквизитора» возлагал Петр щекотливое дело Монса – и вот по прошествии четырех месяцев тот же Андрей Иванович не только не вызывает на себя мщения Екатерины – нет, его любят, ему доверяют, и ему же поручают озаботиться о возврате лиц, так недавно им арестованных, допрашиваемых и преданных в руки заплечных мастеров!

Прощение изрекалось Екатериной под обычную форму: «Ради поминовения блаженные и вечно достойныя памяти его императорскаго величества и для своего многолетняго

здравия: Матрену Балкшу не ссылатъ в Сибирь, как было определено по делам „вышняго суда“, но вернуть с дороги и быть ей в Москве. Детей ея, Петра да Якова, вместо ссылки в гилянскій гарнизон, определить в армию теми же чинами, в каких посылали их в Гилян».

Не забыли Балакирева; вспомнили также о Столетове. Тот и другой освобождены от каторжной работы и возвращены в столицу. Иван Балакирев определен в лейб-гвардии Преображенскій полк в солдаты, а Егор Столетов освобожден на волю, а у дел ее величества нигде не быть.

Освободили героев и героинь трагедии, но самую хронику, летопись события, поспешили запрягать под замки и печати.

Известный уже нам Иван Антонович Черкасов, выполняя, без сомнения, высочайшую волю, запечатал своею печатью четыре пакета. На первом из них написал он своеручно: «дело Монсово»; на втором: «письма, подлежащая к делу Монсову»; наконец, в четвертый куверт спрятал он письмо, подброшенное к Ширяеву в ноябре 1724 года. К сожалению, столь важный документ не сохранился. Быть может, какая-нибудь «высокая персона» в XVIII веке перебирала для собственного любопытства секретнейшие дела своих предшественников и предшественниц и нашла нужным уничтожить эту бумагу; или же сам оберегатель высокомонаршей чести – князь Александр Данилович Меншиков, повелеть соизволил сжечь документ, так как он, быть может, бросал

ть на монархиню.

Запрятали бумаги; долго и долго довелось им лежать под спудом; но не зарыли Балки своих талантов в землю.

Семейство это, как мы видели, всосало в плоть и кровь умение происками, интригами, заискиваниями достигать целей своего тщеславия и честолюбия. Балки, достойные питомцы своей матери и дяди, не упали: нет, они продолжали скользить среди отмелей и камней придворной жизни. Искушенные опытом, они были чрезвычайно осторожны. И вот генеральские чины, звания камергеров, разные важнейшие ордена: Александра Невского и другие – все это своим чередом пришло каждому из любезных, ловких, красивых, вкрадчивых сыновей Матрены Ивановны. О заслугах их, как о подвигах истых придворных куртизанов, не надо судить по наградам; заслуги Балков были довольно своеобразны. Так, известно, что один из них, и именно Петр Федорович, вместе с обер-штальмейстером Куракиным шутками своими имел способность развеселять императрицу Анну Ивановну, льстить Бирону, и хотя ни к каким уже делам допускаем не был, но получал за свои способности чины и скончался 4 октября 1743 года в чине генерал-поручика, кавалера св. Александра Невского и действительного камергера. Младший брат Балка, Яков Федорович (после крещения в православную веру стал именоваться Петром), умер в 1762 году также в чине генерал-поручика и кавалера св. Александра Невского. Дочери старшего Балка сделали пре-

красные партии: Наталья (умерла в 1791 году) была замужем за князем П. М. Щербатовым, Мария (умерла в 1793 году) вышла за обер-егермейстера С. К. Нарышкина, а средняя, Матрена (умерла в 1813 году), вышла за Сергея Салтыкова, известного дружною с великою княгиней Екатериной Алексеевной в 1753 году.

Что до сестры Балков, дочери Матрены Ивановны – Натальи Федоровны Лопухиной, то трагическая судьба ее известна: знаменитая в свое время красавица, она, по воле уже дочери Петра – Елисаветы, бита кнутом и ей урезан на эшафоте язык 31 августа 1743 года: Матрена Ивановна не дожидая до катастрофы, постигшей Наталью Федоровну в 1743 году. Дети Лопухиной видели возвращение матери из Сибири и при императрице Екатерине II сами выдвинулись на служебном поприще: так, второй сын Лопухиной был генерал-поручиком, третий – действительным камергером и проч.

Затем упомянем также и о том, что фамилия Монса встречается еще раз в первой половине XVIII века. Так, в царствование Анны Ивановны, на скамьях «рыцарской академии»²⁴ (нынешний первый кадетский корпус), среди сыновей аристократии и детей разных иноземцев, мы встречаем Бернгарда Монса.

Поступил он в корпус в 1735 году, выпущен в 1741 году в армию прапорщиком. Как доводился новый прапорщик

²⁴ Рыцарская академия – имеется в виду Сухопутный шляхетский корпус, открытый в Петербурге в 1732 г.

знаменитому камергеру: был ли он племянником его или находился в более отдаленной связи родственной, нам неизвестно; неизвестна также судьба этого, едва ли не последнего из Монсов, имя которого встречается в числе имен разных знатных и старинных дворянских фамилий. «Рыцарская академия», как известно, с самого начала была чисто шляхетским заведением.

Оставляя главнейших членов фамилии Балкши и Монса и их потомство, скажем несколько слов о последующей судьбе двух невольных виновников Монсовой и собственной гибели. Судьбы Балакирева и Столетова в последующие царствования совершенно различны: на долю первого выпал вечный смех и шутовство во дворце, на долю второго – долгое скитанье по тюрьмам и позорная смерть на плахе.

Причины этого явления лежали не только в обществе, в котором они жили, но и в их собственных характерах: Балакирев был шут по профессии, по страсти; если он «принял на себя шутовство» еще при Петре и этою особенностью своего дарования успел проложить себе дорогу во дворец, то в последующее время, при Бироне, он тем скорей нашел возможным обратиться к прежней профессии: она его кормила, одевала, вообще с избытком обеспечивала его содержание. В это время действительно житье было разным шутам, шутихам, дуракам и дурам, карлам и карлицам. Ими наполнились темненькие и низенькие покои прежнего «зимняго дома». Скоморошнический орден имел своими членами пред-

ставителей разных старинных княжеских фамилий. Так, среди них разгуливал в полосатом кафтане и дурацком колпаке князь Михаил Алексеевич Голицын, пятидесятидвухлетний паж; тут же нещадно дрался и сам бит бывал беспрестанно злейший плут граф Апраксин; в компании с ними скоморошничал князь Волхонский... Другие аристократы не были шутами по профессии, но в угоду сильным мира пускались на разные штуки: так, генерал-поручик П. С. Салтыков являл при дворе особенный талант – делал из пальцев разные фигуры и чрезвычайно искусно вертел в одну сторону правую рукою, а в другую правую ногою. В обществе столь знатных и столь талантливых особ могло ли быть «досадительно» Балакиреву? Правда, частенько доводилось ему таскать за волосы сотоварищей, бить друг друга по щекам, колотить других палками и быть, в свою очередь, битым по икрам, кувыркаться, кататься по полу, драться до крови; но ведь все это делалось в высоком присутствии герцога Бирона и других вельми знатных персон для общей потехи; в этой потехе, наконец, принимали деятельное участие многие аристократы. Впрочем, и отказываться-то от участия в потехе было не совсем удобно: современник свидетельствует, что Балакирев за подобный отказ однажды был «жестоко бит батоги». Шут же он был добрый, остроумный, и шутки его никогда никого не язвили, но еще многих часто рекомендовали.

В то время, когда Балакирев смехом заглушал слезы, шутками облегчал боль от княжеских пинков и затрещин, ку-

вырканьями и прыганьем разминал ноги, избитые палками, в это время приятель его Егор Михайлович Столетов коротал дни в Нерчинске.

По возвращении из Рогервика в 1725 году Столетов проводил время на «свободе», потом служил при дворе цесаревны Елисаветы и постоянно вращался в мире сплетен, интриг и разных козней придворных чинов мелкой стати. С этим миром он издавна обвыкся. Он не обращал внимания на то, что аристократы «гордились» с ним, вообще относились к нему, к каторжнику, весьма презрительно, впрочем, не за то, что он был в каторге (в то время многим была она знакома), но за его низкое происхождение. Столетов не обращал внимания на их презрение, он все-таки продолжал соваться в кружки князя Белосельского, князя Куракина, князей Долгоруковых и др.; находил себе милостивцев, старался быть им полезным. Человек не без способностей, но тщеславный, самоуверенный, болтливый, он скоро поплатился за то, что вновь отдался интригам и сплетням дворцового мира. В 1731 году, по розыску, за вины Столетова сослали в Нерчинск. Вины его рассказаны, по подлинному делу, на страницах «Русской старины», изд. 1873 года, том VIII, стр. 1-27. Он пострадал вообще за связи и службу князьям Долгоруким, за болтовню неосторожную, за сплетни.

В отдаленном Нерчинске он пользовался свободой, был принят в доме начальника, мог заниматься чем угодно, ходить куда угодно; но бездействие, а главное, жизнь вдали от

той сферы, среди которой он взрос, скоро его озлобили и вызвали на ряд опрометчивых поступков. Он стал рассказывать важные тайны дворцового быта, хорошо ему известные. Говорил о царевне и герцогине Мекленбургской Катерине Ивановне и князе Михаиле Белосельском, об императрице Анне Ивановне и герцоге Бироне, высказывал сочувствие к цесаревне Елисавете, заявлял надежды на ее восшествие на престол и к довершению же собственного несчастья поссорился с комендантом Нерчинска, своим непосредственным начальником. Результатом всего этого были донос, суд и пытки в Екатеринбурге и страшный розыск в Петербурге; завязалось толстейшее дело, продолжавшееся более года. Столетов, столь же малодушный в беде, сколь самонадеянный и заносчивый в счастии, оговорил знакомых, приятелей, приплел к делу родную сестру и зятя, являвших к нему во время ссылки чувства глубокой привязанности; клепал и на себя, то запирался, то приносил повинные не только в противных словах, когда-либо сказанных, но даже в мыслях, какие только зарождались в его голове и служили «к умалению чести его императорскаго величества» Анны Ивановны.

Развязка, по своему времени, была обыкновенная: 12 июля 1736 года колодник Егор Столетов казнен смертью: отсечена голова на С.-Петербургском острове, на (Сытном) рынке. Тело его зарыто, по указу ее величества, там же на Петербургской стороне, близ церкви Спаса Преображения Господня, в Колтовской.

Читатели наши, надеюсь, не упрекнут нас за то, что мы так долго удерживали их внимание на таких личностях, каковы камергер Монс, его сестра, племянники, секретарь, слуги и проч. Без сомнения, достаточно было ясно, что герой настоящего очерка заинтересовал нас не потому, что сам по себе заслуживал бы внимание исследователя старины, – нет, а потому, что рассказ о нем и о его семействе выдвигает некоторые новые стороны в жизни и характерах Петра и Екатерины, а главное – новые черты для знакомства с петровским обществом.

Такие личности, как Виллим Монс, более или менее ничтожные в нравственном отношении, но брошенные случайно в водоворот дворцовой жизни, поднятые счастьем и интригами придвинутые к императорскому престолу, всегда интересны именно в том отношении, что характеристики их дают возможность ближе ознакомиться с обществом того времени, заглянуть, так сказать, за пышные декорации и вообще перенестись в ту среду, в которой подвизались того времени полководцы, денщики, министры, посланники, важные духовные лица и т. п. деятели, т. е. все те лица, которые делают историю того или другого государства. В отношениях своих к фавориту все они, стоящие, по официальным источникам, на каких-то ходулях, разоблачаются – и мы видим пред собою не автоматов, начиненных громкими фразами панегиристов, – нет, а людей из плоти, костей и крови,

живых, то есть с человеческими страстями и слабостями.

Наша русская историческая литература, вообще говоря, мало еще представляет очерков и рассказов, преследующих одну цель: вскрывать завесу над частным бытом нашего общества за ту или другую эпоху и лицом к лицу ставить с характеристическими его представителями и представительницами. Мы с недоумением и даже с насмешкой смотрим иногда на исследование о какой-нибудь личности, имя которой не попало в те учебники да обзоры, по которым мы узнали родную историю.

Мы осуждаем подчас этих дерзких, которые осмеливаются «останавливать просвещенное внимание достопочтенных читателей и читательниц» на каких-то фрейлинах и статс-дамах...

Но мы забываем одно: что наша история рано или поздно должна же обхватить общественный и частный быт каждой эпохи со всеми ее характеристическими мелочами, по-видимому, но только по-видимому, неважными; что при этом неминуемо должны же мы будем приблизиться к личностям, хотя и не заявившим себя государственною деятельностью, но зато игравшим роль в обществе своего времени; мы забываем, что очень часто какой-нибудь, теперь неизвестный, камергер или забытая фрейлина, или царица, не игравшая роли политической, в лице своем несравненно скорее дадут нам возможность ознакомиться с образованием, с нравственным развитием, с тем кодексом правил и взглядов тогдашних де-

ателей на общественные приличия, отношения друг к другу, к низшим и к высшим себя и т. п., нежели все «патентованные» исторические лица. Словом, мы не хотим верить, что первые лица зачастую несравненно ярче знакомят нас с общим видом той среды, над которой подымались только некоторые исключительные личности.

Таким-то вполне характерным, для освещения всего современного ему общества, хотя, по-видимому, и весьма второстепенным лицом был герой нашего рассказа, очерка, почти исключительно основанного на подлинных архивных материалах.

Скажем же ему, Виллиму Ивановичу Монсу, наше последнее прости.

Труп Монса убран с колеса, снята и голова с позорного кола, и мы, невозмущенные страшным зрелищем, можем со спокойным духом сказать следующее: Монс есть один из первых по времени нумеров в той длинной фаланге фаворитов-временщиков, которые от времени до времени являются в русской истории XVIII века. Для них, за немногими исключениями, ничего не существовало, кроме произвола, направленного к достижению своекорыстных целей, пред ними все кланялось, все ползало; для них не было законов, не было правды, не было отчизны...

Монс еще действовал сравнительно со своими преемниками скромно, робко; он не мог вполне развернуться, не потому, что та, которая дала ему силу и значение, связывала бы

иногда ему руки, нет, – а потому, что в глазах его постоянно гуляла по спинам именитых «птенцов» дубина царская, либо брызгал кровью кнут заплечного мастера, сверкала секира палача да болталось на виселице гниющее тело какого-нибудь вора-сановника. И все-таки, при этих нравственных сдержках, фаворит Екатерины Алексеевны восемь лет неустанно нарушал указы, был приточником и прибежищем всякой неправды, имевшей только возможность повергать к его стопам богатые презенты... Кто бы мог подумать, что все это было возможно при Петре, в его, так сказать, внутренних апартаментах, в продолжение столь многих лет, под сенью тех многочисленных, один суровее другого, указов, которыми он мечтал создать новую Россию и которые должны были служить руководящими звездами его «птенцов», его сподвижников.

Петра не стало. И вот главнейшие «птенцы» его и их ставленники, сильные тем, чем силен был Монс, повели было петровское общество все дальше и дальше от народа русского в «мрачную область антихристову», как выражались поборники старины, но заключим словами величайшего русского поэта А. С. Пушкина²⁵

...Государство

Шатнулось будто под грозой.

²⁵ «Русская старина», изд. 1884 г., том XIII, август; рукописи поэта в Румянцевском музее в Москве, стр. 325. (Прим. автора.)

И усмиренное боярство
Его могучею рукой
Мятежной предалось надежде:
Пусть будет вновь, что было прежде,
Долой кафтан кургузый; нет,
Примером нам не будет швед! —
Не тут-то было. Тень Петрова
Стояла грозно средь вельмож,
Что было, – не восстало снова,
Россия двинулась вперед, —
Ветрила те ж, средь тех же вод.